

Любовь Баринова

КТО ТЫ БУДЕШЬ ТАКОЙ?

роман



Заблудиться и найти себя



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Классное чтение

Любовь Баринова
Кто ты будешь такой?

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Баринава Л. П.

Кто ты будешь такой? / Л. П. Баринава — «Издательство АСТ»,
2022 — (Классное чтение)

ISBN 978-5-17-148317-3

Любовь Баринава – прозаик, редактор. Родилась в Ростове Великом, живет в Москве. Окончила Creative Writing School. По дебютному роману «Ева» снимается сериал. «Кроме любви, ничего стоящего в мире нет. Можешь даже не искать», – говорила Але мать, в очередной раз увозя девочку на «поиски» отца. Когда уже взрослую Алю посетило это главное чувство, оказалось, что его цена так же высока, как пишут в обожаемых ею романах, а моральный выбор так же сокрушителен.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-148317-3

© Баринава Л. П., 2022
© Издательство АСТ, 2022

Содержание

2005, апрель, Москва	6
1992 – 1994	8
2005, апрель, Москва	22
2005, май, Москва	37
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Любовь Барина Кто ты будешь такой?

Любовь никогда не перестает...
1 Кор. 13:8

*Мефистофель ее пугает не как черт,
а как «что-то такое, что в каждом человеке
может быть».*
И.С. Тургенев. Фауст: рассказ в девяти письмах

Издательство благодарит литературное агентство “Banke, Goumen & Smirnova” за содействие в приобретении прав.



© Барина Л.П., 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022

2005, апрель, Москва

В комнате Али в общежитии висит плакат. На нем – кадр из фильма «Титаник». Тот самый, где герои стоят на носу корабля, расправив руки, и несутся навстречу катастрофе. Они еще о ней знать не знают, но предчувствуют и жаждут. А что еще хотеть влюбленным, приблизившимся к пределу охватившего их чувства? Эта картинка воплощает представление двадцатилетней Али о любви.

Некоторые из однокурсников уже строят карьеру или начинают бизнес. Скворцов – гений с гайморитом, лучший студент на курсе, занялся продажей компьютеров. Антонов, боксер, подался в бои без правил. Кира, носящая цветные косички, пишет русские пейзажи – туман над излучиной реки, тропинку в осеннем лесу, заснеженный овраг с березой наверху – и шустро продает их на Арбате. Если Киру вовремя поймать, пока она не накупила красок, виски и консервированной ветчины, то можно занять денег на неопределенное время.

У Али ни талантов, ни явной склонности к разумной деятельности нет. Да и планов на будущее как таковых. В свободное от учебы время она бесцельно бродит по городу, грызет арахис, рассматривает фронтоны и барельефы старых московских домов или читает на лавочках романы. Откликается на уличные знакомства. Опыты по большей части неудачные, но она не сдаётся.

Вот так апрельским утром она натягивает джинсы, сидя на чужой кровати. Ее вчерашний знакомый выставил спину, делая вид, что спит. Из открытой форточки тянет температурающими почками, несет краской – дворники с утра красят лавочки. Зевая, она разглядывает, как солнечный клинок буравит стену над письменным столом. Стол из светлого дерева, на ящиках круглятся ручки под слоновую кость. На столе стоят статуэтки Шекспира и святого Антония, висится аккуратная стопка книг: Мольер, Брехт, Островский. Пьесы. Их Аля не любит: скучно, ни подробностей, ни чувств, ни ощущения пространства. У противоположной стены в углу, в тени вытянулась, прячась от солнечного убийцы, черная спортивная груша.

Кроме кровати, стола со стулом и спортивной груши, в комнате ничего больше и нет. Даже одежду вчерашний знакомый сложил на стуле: аккуратно, как в магазине. Ее барахло, впрочем, не трогал – Аля бросила ночью джинсы и свитер на пол, с пола сейчас и подобрала. Она просовывает ногу в штанину и едва не вскрикивает, задев натертую туфлями мозоль.

– У тебя нет пластыря?

Притворяется, что не слышит. Ну а что, он актер. Может сделать вид, что кошка вообще. Вчера соседка по комнате Оля Куропаткина повела Алю на спектакль, в котором он играл Миколку из «Преступления и наказания». Появился трижды. Каждый раз, когда это происходило, Куропаткина хватала Алю и шептала, волнуясь: вот он, вот он. После окончания спектакля потащились к служебному выходу за автографом. Макар Духов, так зовут этого актера, вышел одним из последних – длинное пальто, кеды, рюкзак за спиной. Худой. Немного сутулый. Прическа – как и подобает красавчику актеру. Заметно смутился, когда девушки к нему подошли. У него и ручки сразу не нашлось. «Наверное, в рюкзаке», – сказал он. В двух шагах был сквер – широко и быстро шагая, Макар Духов направился туда, девушки чуть не бегом последовали за ним.

Поставив рюкзак на скамейку, актер вытащил книжку, бутылку вина, трикотажную шапку, дудочку и только потом нашарил ручку. Куропаткина протянула его же фотографию, та с сентября висела у нее над кроватью в общежитии, и актер, подложив книгу, что-то старательно написал и расписался. Отдал. Посмотрел на Алю.

– Нет, мне не надо, – сказала она.

Он как-то опять смутился, раскрыл книжку, которую еще держал в руках, расписался на форзаце, протянул Але.

– Спасибо. – Она взяла книжку, повернула к фонарю, прочитала название: Рюноскэ Акутагава «Слова пигмеев: рассказы». Серьезное лицо японца на мягкой синей обложке. Положила в сумку.

– А что у тебя за вино?

Куропаткина толкнула ее локтем.

– Рислинг. Угостить?

– Нет, спасибо, – заявила Куропаткина.

– Я попробую, – сказала Аля.

А сейчас актер замер, как ящерица, ожидает, пока неудавшаяся возлюбленная уйдет.

– Так нет у тебя лейкопластыря?

На улице заводится какая-то апрельская птица.

– Открой верхний ящик стола.

Аля подходит к столу и выдвигает ящик. Внутри стопкой лежат пластиковые папки разных цветов, теснятся выровненные и подогнанные друг к другу ручки, идеально заточенные карандаши, ластики, карточки магазинов. Под папками обнаруживаются школьные грамоты и фотографии, выцветшие – видимо, висели до недавнего ремонта на стене. Аля вытягивает одну из фотографий: мальчик лет семи стоит рядом с женщиной. Под зонтом, у здания с колоннами. Оба в плащах, как-то одинаково поддуваемых ветром, в мокрых ботинках. Волосы тоже сдуло в одну сторону.

Как это бывает? Точно фокусник делает щелчок пальцами – и вот декорации твоей жизни в один миг меняются. Тринадцать лет назад Аля уже видела эту фотографию.

1992 – 1994

Мать Али – Дарья Алексеевна Соловьева – была страстной натурой, так она о себе говорила. Главной ее страстью был муж Сергей, отец Али, за ним-то, точнее – по его следу, маленькая Аля и мать несколько лет ездили из города в город. Дарья Алексеевна считала, что ее с *Сереей* связывает та самая великая любовь, о которой снимают фильмы и пишут книги. «Такая любовь мало кому выпадает», – с гордостью заявляла мать. Правда, между Дарьей Алексеевной и Алиным отцом произошло недоразумение. «Нужно найти Сереежу, – говорила мать, – и все ему объяснить». Он поймет, уверяла она, они втроем снова будут вместе, и правильный порядок вещей будет восстановлен. А правильный порядок вещей, считала Дарья Алексеевна, рано или поздно всегда восстанавливается.

Какими источниками информации мать пользовалась в конце 1980-х – начале 1990-х? Возможно, писала запросы в адресно-справочные службы, давала объявления в газетах. А может, прислушивалась к голосам в голове. Теперь не узнаешь. Нет, мать жива и относительно здорова, но после давнего происшествия ее память спотыкается как раз о те несколько лет, когда она с маленькой дочерью переезжала с места на место.

Что Аля помнит из того времени? Пыль на обочине, свои сандалии – кожаные, цветом почти не отличимые от пыли, с дырочками и крепкой прошивкой у подошвы. Растянутый ремешок на левой ноге все время расстегивался. Подол маминого платья: веселые полоски чередуются с разливом насыщенной сини. Полоски шли от самого низа платья и пропадали под вспотевшими мышками мамы, а потом появлялись на коротком рукаве. Каблуки маминых туфель громко и гулко отстукивали по асфальту незнакомого города. Если замешкавшись, заглядевшись на собаку, поднявшую заднюю лапу, или на красный трамвай, или на солнце в зеленых густых сетях лип, маленькая Аля теряла мать из виду, то догоняла, ориентируясь по этому стуку – ритму, который было ни с чем не спутать. Прибыв на место, заселялись в очередной дом. Аля сразу принималась его обследовать: ощупывала, обнюхивала стены, дверные проемы, подоконники, старую мебель – продавленный диван и полированный с царапинами стол, стул. Прислонив ухо к стене или полу, слушала гул, запоминала. На улице вдыхала, перебирала внутри себя запахи нового двора: горечь обрезанных веток (дворник орудовал секатором), терпкий рассол разлившейся по весеннему снегу воды или, если была осень, тревожный дух перебродивших листьев, вонь тлеющего мусора и одуряющий, резкий запах резиновых сапожек, которым были нипочем ни снег, ни кофейные лужи, ни чавкающая угрюмая грязь. Резиновые сапожки стоили дешево, и мать на них не скупилась.

Дарья Алексеевна находила работу. С работой было сложно, но все же она что-то подыскивала – на рынке, в ларьке, устраивалась ходячим продавцом духов, алкоголя или детских книг. А что же отец? Спустя неделю-другую мать выясняла, что воспользовалась ошибочными сведениями, или узнавала, что отец и в самом деле был тут, но успел съехать до того, как получил ее письмо. Да, каждый раз, когда матери удавалось узнать адрес, а не только информацию, что *Сереежу* видели в таком-то городе, она первым делом писала ему письмо, сообщала, что едет. После длинного текста, выведенного четким почерком с сильным наклоном влево, маленькая Аля рисовала солнышко, человечка или собачку. Если город был большим, на подтверждение того, что отца тут нет, уходили месяцы.

Каждое утро Дарья Алексеевна кормила дочь завтраком, закачивала себе чай в термос и уходила до вечера. Ну то есть так было, конечно, не всегда. Но после того как Але исполнилось пять, она в понимании матери стала достаточно взрослой, чтобы оставлять ее одну на целый день, закрыв на ключ. Прежде чем уйти, мать долго одевалась у зеркала. Никогда не носила брюк, джинсов, ни тем более спортивных костюмов, так модных тогда, нет – только платья или юбки с блузками. Возможно, дело было в широких бедрах: избегая быть смешной, она

выбирала то, что выгодно подавало фигуру. Подведенные глаза матери напоминали черные некрупные фасолины, а нос был ровен и прям. Возможно, среди их предков затесался турок или араб. Только зубы все портили – были слишком крупные. Когда Дарья Алексеевна улыбалась, то собеседнику начинало казаться, что с красотой тут что-то не так. Але от внешности матери достались разве что волосы – такие же густые, выющиеся. Но у матери они были черные и послушные, а у Али цвета сосновых шишек. Уже тогда, в детстве, волосы было трудно расчесать и почти невозможно уложить.

Побрызгавшись духами, Дарья Алексеевна надевала начищенные туфли, постукивала каблуками несколько раз о пол, прислушиваясь, нащупывая мелодию, точно музыкант перед игрой. Вместо поцелуя брала дочь за подбородок и говорила, что уходит, но будет наблюдать за Алевтиной. Она всегда называла ее полным именем – Алевтина. Никогда – Аля, Алечка, Алюшка, только – Алевтина. «Если я увижу, что Алевтина делает что-то неправильное, то она будет наказана. Алевтина поняла?»

Спустя несколько минут после ухода матери маленькая Аля и в самом деле начинала ощущать ее незримое присутствие. Заглядывала в углы, забиралась на шкаф, исследовала полки, заползала под кровать, шурилась в темноту подсобок. Долго задумчиво глядела на календарь на стене. Она хотела узнать, откуда мать за ней наблюдает и как это делает. Во время поисков попутно исследовала материны пузырьки духов, тюбики с кремом, помады, румяна. Дарья Алексеевна расставляла косметику на комод, если такой имелся, или на полке в шкафу. Чувствуя взгляд матери на затылке, Аля брала каждую вещь осторожно, запоминая, где и как она стояла. На столе, тумбочке или полу у кровати громко тикал будильник – красный, с крупными черными цифрами. Без этого будильника мать не могла встать утром, он неизменно путешествовал с ними из города в город. Когда мать была на работе, будильник тосковал по ней, увеличивая с каждым часом громкость, – Аля иногда даже прикрывала уши, чтобы не слышать его.

У матери были две шелковые сорочки, завернутые в газету. Они, эти сорочки, понадобятся, говорила Дарья Алексеевна, когда она снова будет с *Сереей*. Впрочем, иногда по вечерам надевала одну из них, смотрелась в зеркало, садилась к дочери на кровать и рассказывала длинную сказку. Мать не помнила сказки наизусть и рассказывала как вздумается. Все они были про любовь. Дарья Алексеевна считала, что, кроме любви, ничего стоящего в мире нет. «Можешь даже не искать», – говорила она.

Мать вырезала из газет стихи и клеивала их в толстую тетрадь. От обложки из темного дерматина пахло лекарством от кашля. Иногда мать зачитывала стихи вслух. Смысла их Аля не понимала, но ритм и мамины интонации завораживали и странно щекотали в середине груди, где прощупывалась крепкая косточка.

День длился долго. Возвратившись, Дарья Алексеевна кормила дочь, а потом отправляла на прогулку – под окна. «Алевтина должна быть все время на виду, это ясно?» Наказание заслушание было жестоким. Однажды, рассердившись, что дочь убежала и пришлось больше часа ее искать, мать сломала куклу с веселыми васильковыми глазами, единственную, пережившую несколько переездов. Аля, закрывшись подушкой, долго плакала, шепча, обзывала мать ужасными словами, но тут же одергивала себя, объясняла себе маминым голосом, что Алевтина сама нарушила правило.

В выходные и праздники шли гулять. Мать заметно веселела, становилась щедрой: покупала мороженое, катала Алю на каруселях, водила в кино. Время от времени, спохватившись, оглядывалась, напряженно всматривалась в лица прохожих – надеялась, не мелькнет ли лицо отца.

Рано или поздно наступал день, когда Дарья Алексеевна, напевая, подходила к Але, поднимала ее на руки, целовала в щеки и заявляла, что нашла отца, и они немедленно поедут к

нему. Аля старалась не заплакать. Она еще не успела нажиться в деревянном доме со скрипящими ступеньками и большими окнами, меж стекол которых застряли и засушились шершни и стрекозы; или в квартире с затейливыми золотисто-травянистыми обоями, с бормочущим днем и ночью, точно старик, унитазом, старой чугунной ванной в ржавых розах и подтеках. Не накачалась на дворовых качелях со стершейся краской. Не дождалась, когда нальется медом или кровью смородина, когда подрастет дворовый щенок. Но обиднее всего – не надружилась. Только-только Игорек разрешил забраться на его дерево, растущее в углу двора, и посидеть в уютной выемке между ветвей, показал ворованных солдатиков, которых прятал под пластом мха у ствола этого дерева, между корнями, выступающими серыми змеями над осенними листьями. В тайнике были не только солдатика, но и пачка с двумя сигаретами, а еще сложенный вчетверо листок из журнала, на нем – голая женщина на капоте машины. Аля позавидовала ее спадающим на плечи белым волосам. Аля и Игорек даже поцеловались – между ними, несомненно, начиналась любовь, та самая, о которой перед сном замороженно рассказывала ей мать, но тут нужно было прощаться навсегда. Навсегда! Аля оказалась привязчива. Ночь перед отъездом плакала и грызла подушку от отчаяния.

Вещей у Соловьевых было мало, при переездах они умещались в два чемодана и рюкзак, все это мать таскала на себе. У Али был ранец, в него она могла положить свои пожитки: сколько возьмет – дело Алевтины, нести ей. Зимой, когда теплая одежда и обувь были на теле, в чемоданы умещалось больше, но если уезжали летом, то многие наново нажитые вещи приходилось оставлять. В основном принадлежавшие Але. Иерархия в их небольшой семье была строгая.

Иногда мать спрашивала: помнит ли Алевтина отца? Аля помнила брюки, темные, в крапинку, как асфальт после дождя, хорошо отглаженные. И пятно мороженого на них, и привкус слез – отец отругал ее. Помнила запахи терпкого одеколona и сигарет, от них ее подташнивало. И еще – как забилося от страха сердце, когда две крепкие руки с закатанными рукавами рубашки подняли ее слишком высоко, и она, увидев далеко внизу землю, закричала так, что в ушах зазвенели и больно взорвались колокольчики. А еще были новые санки с разноцветными перекладинами, и отец – темное пальто, меховая шапка – сел на них, покатился с горки и сломал разом две палочки, санки стали некрасивые, щербатые, и Аля заплакала. Она каждый раз рассказывала об этом матери, и та каждый раз расстраивалась. Неужели, говорила мать, Алевтина не помнит, как отец качал ее на качели, и Алевтина смеялась от восторга? Как купил самую дорогую куклу, на которую она указала в магазине? Он потратил на куклу почти все их сбережения на месяц, мать тогда возмутилась, а он только рассмеялся. Как катал на спине по песку на пляже? И как Алевтина сидела у него на плечах на демонстрации и, счастливая, глядела по сторонам? Ночью, когда Алевтина плакала, проснувшись от кошмаров, только он мог ее успокоить. Але нравились эти мамины рассказы, нравилось, что ее кто-то так любил, но сама она этого ничего не помнила.

В один из августовских дней 1992 года Аля и мать заблудились в лесу. Судя по одежде – платью и туфли, – они отправились не за грибами и не за ягодами, впрочем, мать в них ничего и не понимала. Несколько часов шли и шли по лесу не останавливаясь. Мать впереди, Аля за ней. Если попадались препятствия – высокая трава, густые, сплетенные ветками кусты, – мать заводила за спину руку, и Аля хваталась за ее сильную и крепкую ладонь. Девочке хотелось похныкать, пожаловаться на усталость, но, во-первых, мать не любила, когда она жаловалась, а во-вторых, Аля боялась разжать губы, чтобы не проглотить сухую паутину вместе с дохлой мухой. Мать предупредила, что лес волшебный, и если муха попадет Алевтине в рот, то и сама Алевтина превратится в муху, а если Алевтина проглотит лист, то обратится деревом, которое будет глотать лось, а если, упаси бог, съест какую ягоду – то станет ягодой, и ее склюет ворон. Але было семь в то лето, и она понимала, что мать так шутит и лес обыкновенный, но все-

таки на всякий случай крепко сжимала губы, хотя очень хотелось сорвать и пожевать плотный резной лист, а ягоды так и тянулись с кустов – Аля зажмуривалась, чтобы их не видеть, и спотыкалась о коряги. Так она потеряла одну за другой туфли. Каждый раз пыталась остановиться, чтобы подобрать туфлю, но мать рывком тянула дальше.

Сползшие гольфы вскоре обзавелись подошвой из грязи и сосновых иголок, но все же шишки, усыпавшие землю, больно впивались в ступни. Язык сделался сухой, увеличился и с трудом помещался в плотно закрытом рту. Оглядываясь по сторонам, Аля как-то раз заметила свернувшуюся клубком на пне змею – та ловила солнце, спускавшееся столпом в проем между деревьями, точно в колодец. В другой раз увидела за листвой рога и блестящие глаза, они тут же исчезли, раздался шум и треск, побежавший по веткам и кустам вглубь леса. Мать повернула голову, прислушалась, прибавила шаг. Вечерело. Когда проходили мимо особенно раскидистого дерева, Аля выдернула руку, уселась под него и заплакала. Мать опустила рядом.

– А где туфли Алевтины?

Девочка сглотнула слезы.

– Хорошо, пусть Алевтина отдохнет немного.

Дарья Алексеевна сорвала листок, послунывила и прислонила к запекшемуся порезу на щеке. Порез у нее был страшный, глубокий, кровоточил. Следы засохшей крови были и на шее матери, несколько пятен виднелись на платье. Аля не могла вспомнить, когда мать так сильно порезалась. У нее самой тоже были царапины от веток на ногах и на руках, но совсем крохотные.

Дерево, обрадовавшись компании (можно ведь и сто лет простоять, и никто так и не сядет под твоей кроной), принялось весело скидывать сухие листики на подол Алиного платья – ситцевого, с рисунком из бесчисленных сдвоенных вишен. У матери платье было в сине-белую полосу. По колену матери пополз муравей, она смахнула его и сказала, чтобы Алевтина не боялась.

– Мы немного заблудились, – пояснила она, – но скоро выйдем.

Дарья Алексеевна встала и, потянув Алю за руку, заставила подняться. Однако едва девочка сделала несколько шагов, как, заплакав, снова села. Мать понесла ее на руках. В лесу сделалось прохладно и сумрачно, хотя небо оставалось светлым. Аля обняла мать за шею и, прислушиваясь к ее дыханию, не спуская глаз с жилки, которая билась у шеи, задремала.

Проснулась от сильного запаха хвои. Было темно. Она была укрыта сосновыми лапами. Мать сидела рядом, бормотала, то и дело шлепала себя по плечам, а потом прикасалась к этому месту губами. Аля догадалась, что она убивала комаров и слизывала их. Мать внезапно замолчала, и тут же стала слышна страшная ночная тишина леса.

– Алевтина должна закрыть глаза и спать.

На рассвете кто-то натягивал туманные нити меж деревьев. Солнце глядело сквозь мутное увеличительное стекло. От холода сводило ноги. Переговаривались птицы. Дарья Алексеевна бродила в одном белье и водила снятым платьем по траве, намочшей от росы. Потом велела Алевтине открыть рот, выжала ей собранную воду. Попоила сначала дочь, затем себя, пообещала:

– К обеду выйдем из леса.

Снова надела мокрое платье, потемневшая ткань облепила ей колени и живот, как у каменной женщины в фонтане недалеко от их последнего дома. Ступать стало не так больно, как накануне. Хотелось есть, но мать не разбиралась в грибах и ягодах, не умела добывать огонь без спичек и делать множество вещей, благодаря которым люди выживают в лесу. Если бы попалась разве что малина, то ее они бы обе узнали, но малина не попалась. Правда, через несколько часов набрали на дикую яблоню. Яблоки были кислые, от них крутило живот. И все же мать, снова сняв платье, набрала яблок в него и завязала узлом.

К полудню все еще шли по лесу. Солнце светило ярко, цветы раскрылись, но почему-то совсем не теплело. Листья на деревьях заledenели и постукивали друг о друга, от них веяло холодом, траву же сковал мороз и покрыл невидимый снег, воздух и солнце дрожали. Тянуло в сон, а есть уже не хотелось. Зубы изредка постукивали друг о друга.

– Посмотри, – сказала мать, указывая на огромные вмятины в траве, голос ее раздавался будто издалека. – Похоже, лежка кабанов. Лучше бы нам не попадаться им.

Было то светло, то темно, но всегда холодно, невозможно, страшно холодно. Воздух время от времени складывался, точно хрустящий бумажный лист, и дышать становилось нечем. Мать превращалась в птицу и хлопала крыльями у Али перед глазами, оборачивалась волчком, и тот все бегал, кружил вокруг. Потом мать зачем-то танцевала далеко за деревьями и одновременно сидела рядом, положив голову дочери себе на колени. На губах Аля изредка чувствовала отдающую тиной воду, а как-то распознала соленую кровь. Сколько они бродили по лесу – два, три, четыре дня? Детская память ненадежна, а память температурающего ребенка вдвойне. Много из того, что Аля запомнила из тех дней в лесу, происходит не могло. Кое-что она была не в состоянии даже описать, потому что не знала, да и теперь не знает слов, которыми можно было бы это обозначить и тем более объяснить.

Кончилось все резко:

– Алевтина слышит?

Девочка открыла глаза и сощурилась от света. Где-то совсем рядом, за деревьями лаяла собака. Когда Аля снова открыла глаза – собака летела над зеленой травой, белая шерсть, вся пронизанная солнцем, сияла. И вот уже мать несла Алю по деревянной лестнице, растворявшейся в лужицах солнца. Впереди перепрыгивали через ступеньки та самая белая собака и мальчишка – синяя футболка, обесцвеченный стриженный затылок, родимое пятно под коленной выемкой.

В чужом доме пахло деревом. Окна были освещены солнцем, а на мебели и диковинных коврах лежала густая тень. Дарья Алексеевна уложила Алю на темно-красный диван в одной из комнат, на мягкие подушки с вышитыми птицами и ушла. В комнате оказалось много странных и интересных вещей, на этажерке стояли книги, на стенах висели фотографии, в углу замерло чучело большой птицы, расправившей крылья. С изогнутых спинок двух кресел свисали белые пушистые шкурки. На столике меж этими креслами стояли статуэтки, висилась бутылка, наполовину наполненная янтарной, похожей на настоявшийся чай жидкостью. Была раскрыта шахматная доска, а на ней друг напротив друга стояли одна игровая фигура и стакан с такой же жидкостью, как в бутылке.

Откуда-то из дома – он показался девочке бесконечным – раздавались голоса матери и мальчишки. Звякала посуда. Стучала чайная ложка о чашку. Скрипел пол под шагами. Включилось радио, и взволнованный женский голос произнес: «Из охваченной боевыми действиями Абхазии началась эвакуация российских туристов и отдыхающих в санаториях и домах отдыха». Аля почувствовала чей-то взгляд – из проема двери на нее смотрела собака с белой шерстью. Высунув язык, красный, блестящий, собака часто дышала. И вправду стало жарко – Аля сбросила ногами плед.

– Барса! – послышался звонкий мальчишеский окрик из глубин дома.

Собака резко закрыла пасть, весело посмотрела на Алю, разве что не улыбнулась. Вскинула морду, повернулась и важно потопала прочь, когти застучали, удаляясь, по деревянному полу. Вскоре пришла мама с чаем, села рядом, одной рукой обняла Алю за плечи, а другой поднесла чашку к ее губам.

– Я сама, – Аля взяла у нее чашку, – не уроню.

На теплом пузатом фарфоровом боку чашки краснели маки. Чай оказался сладким, сытным, с молоком. От мамы приятно пахло незнакомым душистым мылом.

– Вот мы и спаслись, – сказала Дарья Алексеевна, глядя перед собой. Сказала так, будто сожалела об этом. – Отдохнем немного и через часик-другой пойдем на электричку.

– А мы можем остаться здесь?

– Алевтина не должна говорить глупости.

Дарья Алексеевна ушла, и Аля снова осталась одна. С дивана прекрасно просматривались фотографии на стене. На одном из снимков люди в странных костюмах замерли в нелепых движениях на сцене. С другого на Алю смотрел мужчина с крупной головой, широко расставленными глазами, взгляд его Але не понравился. Рядом была еще фотография: мальчик с мужчиной, тем самым, у которого широко расставленные глаза. Стоят под одним зонтом у внушительного здания с колоннами. Оба в плащах, как-то одинаково поддуваемых ветром, в мокрых ботинках. Волосы сдуло в одну сторону.

Когда через несколько минут мальчишка, неся в горсти малину, вошел к Але, она сличила его с тем, что на фотографии, – он.

– А где мама?

– Спит. Угощайся, – он протянул сложенную ладонь, заполненную доверху ягодами.

Аля принялась за ягоды, спелые, сладкие, почти горячие. Мальчишка с любопытством разглядывал ее, а она исподтишка его. Он был старше. Глаза не вытянутые, как у Али, не темные, как у нее и мамы, а круглые, цвета речного песка под прозрачной водой. Волосы у него лежали так, будто их только что постригли и уложили.

– Страшно было в лесу?

Аля кивнула.

– Что это за фигурки? – она показала на этажерку, где у корешков книг темнели человечки.

– А, это самураи. Такие японские воины.

Он сходил и принес одну.

– На, держи, посмотри. Я хочу быть таким же как этот.

Аля взяла фигурку мужчины в широких шароварах: глаза-запятые, черные волосы стянуты на затылке в пучок. Она пощупала гладкие тонкие выступы губ, лба, носа, эфес меча – как можно хотеть быть таким смешным? Хотела это спросить, но ее охватила слабость, и она опять уснула под восхищенный рассказ мальчишки о том, какие удивительные воины были эти самураи.

Потом мать надевала ей ботинки цвета старого молочного шоколада, разношенные, в трещинках и морщинах, но очень мягкие. Они вкусно пахли разгоряченной кожей, летом и каким-то средством. «Американские», – гордо сказал мальчишка. Ботинки были великоваты, но мама крепко зашнуровала их. Спустились по лестнице, потом пошли по тропинке меж ярких цветов. Обернувшись, Аля посмотрела на дом – двухэтажный, из темного дерева, старинный, русский, загадочный. Как в сказках, которые рассказывала мать. Где-то наверху осталась комната с освещенными окнами и густыми тенями, фотографиями, фигурками самураев и темно-красным диваном – плед свесился, чашка с маками все еще стоит на полу. Другие комнаты Аля так и не увидела. Она еще была тут, шагала в тени этого дома, но уже тосковала по нему, как по всем другим, которые они покинули и куда больше никогда не вернутся.

Мальчишка в синей футболке ждал на платформе, пока электричка не тронется. Собака сидела у его ног, ее шерсть золотилась на насыщенном, как персиковый компот, августовском свете. Аля помахала мальчишке, он помахал в ответ. Состав дернулся, и вот уже она и мама едут, а синяя футболка быстро уплывает назад. Чувство очередной потери нахлынуло с такой мощностью, что Аля заплакала. Сидевшие напротив две девушки уставились на нее. Они казались близнецами, обе были в вареных джинсах, с начесами обесцвеченных волос, кольцами в ушах и сильно подведенными глазами. Одна из девушек протянула Але жевательную резинку – квадратик, похожий на ластик, в яркой обертке. Аля взяла, сжала в кулачок и разрыдалась. Мать

подняла ее на руки, пронесла через весь вагон, поставила на пол в тамбуре – за окном зелеными штрихами, не успевающими воплотиться в деревья, проносились леса.

– Пусть Алевтина ревет здесь, если ей так хочется, – заявила она. – Я подожду.

От этих слов реветь как-то перехотелось. Аля всхлипнула несколько раз.

– Все? – спросила мать.

Девочка кивнула, и Дарья Алексеевна взяла ее за руку и провела в следующий вагон. Там тоже нашлись свободные места на деревянных желтых скамейках. Уселись. Аля раскрыла обертку жевательной резинки, засунула в рот, а вкладыш расправила – Терминатор с ружьем. Мать сидела подобравшись, сдвинув вместе ноги и туфли и сцепив руки на подоле. Смотрела в пространство. Глубокая царапина на ее щеке подсохла и потемнела, а кожа вокруг припухла и покраснела. Проходившие мимо пассажиры бросали на мать внимательные взгляды, то есть сперва на мать, а потом на Алю, болтавшую ногами в великоватых мальчишеских ботинках. Да, платья на обеих были мятые и грязные.

С электрички пересели на скорый поезд, и утром прибыли в большой город. Поселились в гостинице и сразу легли спать. Проснувшись к вечеру, Аля увидела, что стол у распахнутого окна заставлен тарелками с едой, кувшинчиками, горшочками. На свету грелись бутылочки кока-колы и фанты. Виноград свисал с высокой вазы. С улицы доносился шум машин. Мать в одном белье сидела в продавленном кресле, покрытом выцветшим гостиничным покрывалом, и смотрела с приглушенным звуком телевизор. В руке стакан, на полу – бутылка с яркой этикеткой.

Аля опустила ноги на прохладный старый паркет в темных пятнах, прошлепала к столу и отщипнула виноградину, засунула в рот. Провела пальцем по загогулине на прохладной чаше вазы. Такими вензелями была отмечена вся посуда.

– Бог спас Алевтину. Она должна запомнить это.

– Ты говорила, что Бога нет.

Мать допила жидкость в стакане.

– Ну, пусть Алевтина назовет это как хочет. Но она должна праздновать и веселиться. Пусть пьет и ест что хочет весь день. Делает что хочет.

Дарья Алексеевна долила себе еще вина из бутылки и медленно, с оттяжкой глотнула, устала в экран. Там чужеземные мужчины и женщины в красивых костюмах и платьях сидели на креслах и беседовали, смеялись.

В следующие дни мать шиковала: приобрела электрический чайник, чашки и блюдца, белые, как молоко, в коробке с прозрачным окошком. Подернутые дымкой стаканы. Столовые приборы – блестящие, тяжелые, негнувшиеся. Обувь. Одежду. Себе платья, пальто, а Але модные вареные джинсы и такую же курточку – приближалась осень. Купила даже куклу, о какой Аля и помыслить не могла, – Барби. Где мать достала ее летом 1992 года? За какие деньги купила и почему? Аля слышала о такой кукле от одной из девочек, та видела ее у другой девочки, той папа привез Барби из Америки. И словно этого было мало, на следующий день мать притащила еще мягкого медвежонка. Все это было странно, непривычно. Обнюхивая волосы Барби и надушенную новизной шерсть медвежонка, Аля тревожилась. Ей, малышке, казалось, что это все как-то слишком и что-то явно идет не так. И сладости, непонятные, в ярких упаковках, заполонившие подоконник, – слишком. И большой город за окном с таким количеством домов и движущихся машин – тоже слишком. Правда, раз город такой большой, то на поиски отца у них уйдет много времени, и они побудут тут подольше.

Лихорадочная деятельность матери сменялась многочасовой апатией у телевизора. Вот она сидит в продавленном кресле. В руках – стакан. Очередное новое платье, тщательно расчесанные волосы, поджатые ноги. Лицо грустное, усталое, размывается временем. Если бы Аля знала, что будет дальше, она бы постаралась запомнить мать получше. А она запомнила ерунду – волосы Барби и ее игрушечное красное платье, вкус кекса с апельсином, свой язык в разводах

шоколада, отражающийся в зеркале трюмо. Выцветшие, грузные от пыли шторы: за ними Аля, играя сама с собой, иногда пряталась. Заставленный продуктами подоконник. И героев мексиканского сериала, который мать смотрела, подавшись вперед, и голоса этих героев, и мелодию на испанском языке, от которой сладко щемило и ныло в косточке в середине груди.

Один день Аля провела в номере одна, мать ездила в последний их дом за документами. То есть в гостинице они жили без документов, что не так уж и удивительно для 1992 года, тогда многое можно было уладить за деньги. В тот день Аля долго стояла у окна и смотрела на большой город. Вслушивалась то в шум улицы, то в тишину опустевшего без матери номера. Как-то, когда шум столицы притих и тишина снаружи и внутри слились, кто-то явственно шепнул Але: ничего не бойся, у тебя впереди долгая удивительная жизнь. Она замерла, почувствовала упругость упершегося в спину и затылок воздуха – тихий вихрь прошел сквозь ее тело и растворился в августовском мареве.

Дарья Алексеевна вернулась в сумерках. Выложила из сумки на стол документы, обернутые газетой, свою тетрадь, в которую вклеивала стихи, и шелковое белье.

– А мой ранец? – спросила Аля.

– У Алевтины теперь новая жизнь, старые вещи ей ни к чему, верно?

Той ночью мать и заболела. Бормотала странные слова. Просила пить. Аля наливала ей то фанту, то вино из бутылки, стоявшей у кресла. Мать пила жадно, от нее и белья пахло потом. Утром не встала. Газировка и алкоголь кончились, но Дарья Алексеевна командовала – пить. Аля вскипятила чайник, заварила пакетик, запахло ненастоящими ягодами и тревогой. Мать и раньше, бывало, болела, но никогда – так. Решив встать и пройти к туалету, Дарья Алексеевна сделала несколько шагов и упала.

– Позови кого-нибудь.

Аля спустилась вниз. За стойкой сидела женщина с облаком-прической и смотрела телевизор на стене. Изображение было нечетким, словно во сне. «Я слушаю тебя, Луис Альберто», – говорила уже знакомая девушка на экране. Аля открыла рот и уставилась на нее. «Марианна! – Это уже говорил мужчина. – Я намного старше тебя и потому опытнее. Верь мне, Диего не тот человек...»

– Чего тебе? – спросила администраторша.

– Мама упала и не может встать.

– Ну пойдем посмотрим.

Поднялись в номер. Администраторша помогла Дарье Алексеевне подняться, дойти до туалета, после довела до кровати. Сказала Але, что ничего страшного нет. Но вечером Аля снова спустилась. Приехали врачи. Мать уже не говорила, только странно смотрела на собравшихся в номере и то сжимала, то разжимала простынь. Лоб и волосы у нее были мокрыми. Врачи, мужчина и женщина, задавали вопросы. Спрашивали резко, смотрели строго. Аля заплакала, потом рассказала, что они недавно заблудились в лесу.

– Сколько вы пробыли в лесу? День, два?

Всхлипывая, Аля принялась рассказывать про мальчика с собакой, но врачи потеряли к ней интерес и стали что-то громко обсуждать, снова осматривать маму. Появился человек с носилками. Дарью Алексеевну уложили на носилки и унесли, а Аля осталась одна.

На следующий день пришел милиционер. Велел одеться и идти с ним. В машине пахло бензином, сигаретами и пыльными бумагами.

– Мы едем к маме?

Не ответил. Щека его была раздута, флюс. Аля испугалась еще раз спрашивать. Милиционер с флюсом привез Алю к трехэтажному кирпичному зданию. Входная дверь, когда милиционер открыл ее, громко и натужно скрипнула. В неприятно пахнувшем помещении без окна толстая женщина посмотрела Але горло, далеко и больно засунув палочку, потом молча записала мокрый градусник под мышку. На вопросы девочки тоже не отвечала. Спустя некото-

рое время проверила градусник, достала ножницы и постригла, морщась, Але ногти. Отвела в холодную комнату с голубой плиткой, буркнула:

– Раздевайся и вставай на поддон.

Больно вымыла мылом (от его тяжелого и душного запаха подступила тошнота), еще больнее вытерла грубым полотенцем. Принесла белье и плотный, жаркий, в синих цветочках, халат. Тапочки – такие большие, что их трудно было удержать на ноге. Ждала, скрестив руки на толстой груди, пока Аля оденется, потом повела ее по коридору. Откуда-то доносились детские голоса. Подцепляя тапочки ногой, Аля шла за женщиной, надеясь, что сейчас окажется в комнате с другими детьми, но женщина привела ее в изолятор. Четыре застеленные кровати выстроились в идеальной симметрии. Аля выбрала место у окна, расчерченного с той стороны прутьями решетки. Потом уже другая работница, маленькая и востроносая, принесла кашу и чай в стакане.

* * *

Через несколько дней Алю отвезли в интернат. В кабинете с желтыми шторами за столом сидела директриса. Над ее головой висел портрет седого, тщательно расчесанного мужчины с толстым лицом (Ельцин, как много позже узнала Аля). В углу, в аквариуме, пронизанном позднеавгустовским светом, плавали среди мини-джунглей красные и полосатые рыбки. Директриса угостила Алю конфетой и велела немного подождать. Вскоре вошла длиннотелая и длиннотица учительница. Села рядом с директорским столом, положила ногу на ногу. Аля в застиранном серо-синем платье с воротничком, великоватых, собравшихся гармошкой колготках стояла напротив в солнечном квадрате, чувствуя, как тепло согревает ее ноги. Цеплялась взглядом за американские мальчишеские разношенные ботинки – единственное, что ей вернули в детприемнике.

Сначала спрашивала директриса. Аля рассказала, как с мамой ездили из города в город искать отца. Как мама говорила, что самое стоящее в жизни – это любовь, а все остальное – это так, пыль из-под колес. Директриса от этих слов подобрела еще больше, а худое лицо учительницы вытянулось еще сильнее. Нет, в детский сад не ходила. Да, мама оставляла дома одну, закрыв на ключ. Что делала в ее отсутствие? Играла и ждала. Нет, телевизор целыми днями не смотрела, у них его не было.

– Ты умеешь читать? – Это уже учительница.

– Нет.

– Какие у тебя любимые книжки?

Аля промолчала.

– Мама читала тебе книжки?

– Она читала мне стихи.

– Барто? Маршака? Чуковского?

Аля снова промолчала.

– Можешь какое-нибудь прочесть наизусть?

Кивнула. Она многие стихи из той коричневой тетрадки запомнила. Про жалобную осень, муху, попавшую утром в чай, и оставшийся под кроватью мужской носок – темный, в крапинках. Это было короткое стихотворение. Когда Аля закончила, учительница и директриса ничего не сказали, просто смотрели на нее. И Аля начала еще одно – про то, «как разрывается то ли платье, то ли сердце под твоими руками...».

– Хватит, – сказала, покраснев, учительница. – А детские ты знаешь? Про Дядю Степу? Муху-цокотуху?

Аля подумала:

– Я знаю считалки. Эники-беники ели вареники...

– Ну а сказки? Сказки какие ты знаешь?

Аля начала рассказывать одну из услышанных от матери. На лице учительницы отразилось недоумение. Тогда Аля заверила, что еще знает про Черную Руку, Пиковую Даму, гроб на колесиках...

– Ну а Золушку? Красную Шапочку? Про молодильные яблоки? Петушка – Золотого гребешка? Руслана и Людмилу?

О таких не слышала. Нет, даже мультфильмов, известных всем детям, не смотрела.

Директриса что-то тихо сказала учительнице, та упрямо поджала тонкие губы, по ее щекам снова поскакали красные пауки.

– Мама водила тебя в музей, театр, кино?

Да, мама любила ходить в кино. Смотрели «Эммануэль», про Анжелику, а еще про Терминатора и маньяка, который держал девушек в колодце. А еще...

Учительница замахала рукой:

– А какие праздники ты знаешь?

– Новый год.

– А День Победы? Первое мая? Седьмое ноября? Ты знаешь, в какой стране живешь?

Аля знала, но учительница была явно недовольна ответами, и Аля решила, что лучше, наверное, не отвечать. Повисла пауза.

– Деточка, – это директриса, – а считать ты умеешь? До десяти сможешь посчитать?

Аля посчитала.

– Ну и умница, – сказала директриса. – А то, чего не знаешь, научись. Правда, Ирина Степановна?

Та что-то недовольно писала на большом листе. Директриса же показалась доброй, Аля набралась храбрости и спросила у нее:

– Моя мама умерла?

– Нет, что ты. – Та от удивления скруглила мягкие накрашенные губы. – Разве тебе не сказали? Твою маму укусил клещ, она заболела. Болезнь называется энцефалит. Лечится долго, поэтому ты пока побудешь у нас. А потом мама тебя заберет. Ну что ты плачешь? На, миленькая, возьми еще конфету.

Немного освоившись в интернате, Аля пришла в библиотеку и попросила книжку «про клещей». Библиотекарша была в настроении и, велев ей сесть за стол, принесла толстый том. Синяя твердая обложка, в верхнем углу – жучок.

– Только листы не мни и не рви.

Занятия в первом классе начались, и Аля узнала, как выглядят некоторые буквы, но прочесть еще ничего не могла. Она принялась листать страницы. Книга оказалась для больших учеников, на страницах сплошь текст, скупой разбавленный схематичными рисунками жуков, мух и бабочек. Изредка, правда, попадались яркие иллюстрированные вставки, но как узнать, кто из этих жуков мамин клещ?

– Ну что, насмотрелась? – спросила, посмеиваясь, библиотекарша, подошла, протянула руку к энциклопедии, намереваясь забрать.

– А энси... ци... флет? – Аля никак не могла вспомнить название болезни.

– Энцефалитный клещ?

Замелькали страницы под ловкой рукой библиотекарши, и вот перед Алей возникла цветная картинка, на ней – девять жучков, по три в каждом ряду. Толстый белый палец библиотекарши ткнул в крайнего слева во втором ряду – маленький, похож на арбузное семечко с волосистыми лапками. Единственный из всех изображенных на этой странице сидел на травинке, будто обнимая ее.

Время от времени Аля стала заходить в библиотеку и просить *книжку, чтобы посмотреть на клеща*.

– «Жизнь животных», третий том, – поправляла ее библиотекарша.

Аля несла полученную книгу за стол, садилась, раскрывала энциклопедию на странице, куда библиотекарша вложила вместо закладки каталожную карточку. Долго смотрела на уже знакомую картинку. Однажды принесла с собой тетрадку, которую выдали для черновика, карандаш и попыталась срисовать клеща. В следующий раз снова пришла с рисовальными принадлежностями. С каждым разом клещ выходил все лучше. Скоро вся тетрадка была разрисована, примеры по математике приходилось втискивать в свободные места, цифры нередко недовольно обскакивали волосистые лапки бесчисленных энцефалитных клещей.

К концу первого класса Аля смогла прочитывать слова в энциклопедии, но смысла их не поняла, во втором классе выучила их наизусть, пропуская те, которые были написаны на другом языке: «...таежный клещ – переносчик вируса весенне-летнего энцефалита. Этот вид широко распространен в лесах южной части таежной зоны от Камчатки и Сахалина до Карельской АССР, на юге до Московской, Брянской, Орловской областей, на Алтае. Голодная самка около 4 мм, насосавшаяся крови – до 11 мм, самец – 2,5 мм. Спинной щиток темно-коричневый, глянцеви́тый, на тазиках ног острые зубцы». Из всех слов наиболее понятным оказался тазик. Но откуда у клеща тазик? Этого Аля никак не могла понять и часто размышляла на эту тему.

Научившись хорошо рисовать клеща даже по памяти, она все равно приходила смотреть иллюстрацию в энциклопедии. Библиотекарша иногда спрашивала, не хочет ли она взглянуть на что-нибудь другое, но другое Аля не хотела.

Она легко сошлась с детьми, ей даже удалось сбересть американские ботинки. Правда, необыкновенными они казались только ей, над их цветом ребята смеялись. Как и над убежденностью, что мама ее заберет. Но Аля знала, что так и будет, потому что мать продолжала, как и раньше, наблюдать за ней. Под невидимым остальным взглядом матери Аля аккуратно складывала свои вещи на стул. Тщательно мыла руки мылом и чистила зубы. Пыталась каждое утро расчесывать волосы: ее постригли очень коротко, но даже с такой стрижкой волосы упрямо не пропускали зубчики расчески. Вставляла пропущенные буквы в слова, решала примеры и задачи, пыталась справиться с иголкой и ниткой на уроке труда. Учила стихи, повторяя за воспитательницей:

Ласточки пропали,
А вчера зарей
Всё грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.

Про природу ей нравилось, сразу вспоминались дома, где они с мамой жили, окрестности. Там так же, как в стихах, бежали ручьи и веяло весною, а ночью ветер злился и стучал в окно, а утром комната была полна янтарным блеском и трещала затопленная печь. И на санках Аля каталась, и с ней было такое, что все лицо и руки залепил снег. Все это – их с мамой жизнь, поездки по городам в поисках отца – вскоре возобновится. На ночь она шепотом повторяла сказки, которые Дарья Алексеевна когда-то рассказывала. И терпеливо ждала.

Мать забрала Алю спустя два года, осенью. Был выходной. Аля как раз дорисовывала клеща – она научилась превосходно их рисовать, хотя ничего другого по-прежнему изобразить не могла. Выводила лапки, когда прибежала одна из девочек и крикнула, что за Соловьевой мать пришла – ждет в кабинете директора. Замерли все ребята, находившиеся в игровой. Аля

положила карандаш. Медленно прошла к двери, шагнула в коридор, завернула за угол и тут уж сорвалась с места, побежала так быстро, как только могла.

Мать сидела напротив директрисы, а та улыбалась немного глупо – видимо, не часто ей приходилось бывать в ситуациях, когда матери приходили за детьми. Аля вбежала и остановилась посередине кабинета, на том самом месте, где стояла два года назад и отвечала на вопросы учительницы. Мать обернулась: она исхудала, на лице выступили скулы. Темные брюки, растянутый рыжий свитер. Правая рука неловко поджата к животу, а в левой – кукла с черными блестящими волосами. Дарья Алексеевна поднялась и, выставив куклу вперед, направилась к дочери. Аля заволновалась и сделала шаг назад – мать показалась ей незнакомой. Нет, Аля ее узнала, это была ее мама, но незнакомая ее мама. Что-то было не так с поджатой рукой, с замершим лицом, а больше всего со взглядом – будто глаза Дарьи Алексеевны выцвели, как на старых фотографиях. И еще эти темные брюки – мать никогда не носила брюк, только платья.

Дарья Алексеевна попыталась улыбнуться, вручила куклу:

– Алечка, это тебе.

Неловко провела по волосам дочери, потом попросила разрешения позвонить. И пока она говорила по телефону, директриса встала из-за стола, приблизилась к бывшей уже воспитаннице, наклонилась и прошептала:

– Твоя мама может что-то не помнить, не бойся, это последствия болезни.

– А потом вспомнит?

– Должна, – сказала директриса, но как-то не очень уверенно.

– А она помнит, что она моя мама?

– Ну конечно, иначе бы не пришла за тобой.

Несколькими часами позже в поезде мать купила два чая, достала бутерброды, заварила лапшу в коробочках. Ехали в Иваново. Почему, зачем Иваново? Боковые места, собранный столик на нижней полке, пар от стаканов с чаем на окне, за ним – осенний день, тот самый, который «стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера». Аля учила это стихотворение в прошлое воскресенье. По привычке хотела набросать на запотевшем стекле клеща, но теперь в этом не было смысла.

– Мы едем искать папу?

Поезд с грохотом промчался мимо станции, старушек с ведрами яблок и пирамидами оранжевых тыкв. Мать мелким глотком отпила чай, разжала губы:

– Домой.

Поев, прибралась и легла на верхнюю полку, выставив спину, обтянутую свитером.

– Мама, это ты? – спросила ее Аля тихо.

Будто не услышала, а может, и самом деле не услышала, так и пролежала в одной позе наверху до самого прибытия.

На том главное детство Али, то, которое для человека все равно что ядро для ореха, навсегда и кончилось. В Иваново поселились в деревянном доме: голубая краска с фасада облезла, наличники затейливо вились вокруг окон, крыльцо с тремя ступеньками скрипело. Возле дома росла раздавленная вширь сосна со скверным характером, кидавшаяся шишками и стонавшая по ночам. Дарья Алексеевна вначале нет-нет да и брала Алю за руку, дарила игрушки, целовала на ночь, забыв, что никогда так не делала. Но потом перестала, снова принялась называть дочь Алевтиной, выбросила брюки и опять перешла на платья и юбки. Похоже, припомнила все, кроме тех лет, когда искали отца. Это время полностью исчезло из ее памяти, словно кто-то (она сама?) вырезал его ножницам, а то, что было до и после, заново склеил. Когда Аля напоминала про отца – про то, как она, мать, говорила, что у них с *Сергежей* та самая великая любовь, о которой снимают фильмы, про дома, где они жили, когда переезжали с места на место в поисках отца, – Дарья Алексеевна качала головой и говорила, что Алевтина что-

то путает, или даже – Алевтина все выдумывает. Отец Алевтины умер. Алевтине в интернате было тяжело, и она все придумала.

Мать работала в типографии. Несмотря на проблемы с левой рукой и немного замедлившуюся речь, она оставалась привлекательной женщиной. Через год вышла замуж, потом родился Павлик. Дарья Алексеевна научилась готовить блюда вроде ризотто с белыми грибами, копченой грудинки с яблочным муссом и пряной капустой, шуки, фаршированной гречневой кашей с жареным луком и шкварками, ну и тому подобное. Прежде чем есть, называла эти блюда отчиму и Павлику вслух. Стала выстраивать в кладовке соленья и варенья. Начищать до блеска вилки и ложки. Выглаживать вещи и складывать их ровными стопками в комод. Все время что-то терла, чистила, но, судя по выражению лица, не могла удовлетвориться результатом. Чистота, как в операционной, все казалась ей недостаточной, и даже в выставленной точно по линейке обуви в прихожей она умудрялась углядеть хаос.

Отчим? Он любил колоть дрова, выбегать в мороз босиком на снег и кричать слова, в переводе означавшие, как прекрасна жизнь. Он обил дом сайдингом, поставил новый забор, построил гараж, асфальтировал дорожки. Спилел сосну с вредным характером. Он был автомехаником и в свободные часы тоже ковырялся у дома в машине. Иногда, когда Аля проходила мимо, просил подать ключ или изоляцию. Смотрел сквозь. Говорят, приемные дети провоцируют на жестокость, насилие и всякое такое. Нет, ничего подобного не было. Напротив, у Али в семье было особое положение. Словно она была важным гостем. Они, Устиновы, втроем жили в одной комнате, а у Али была своя. Была у нее и своя чашка, тарелка, полотенце и даже фамилия. Ей покупали новые велосипед, лыжи, коньки, в то время как Павлик пользовался теми, что принадлежали еще его отцу.

Много лет Аля наблюдала за матерью, до конца ей так и не поверив. Она считала, что мать зачем-то скрывает период их разъездов. Иногда, засыпая, Аля вспоминала, как они путешествовали, искали *Сергею* и готовились зажить счастливой жизнью. Призрачная семья, набросок, который так и не воплотился. И призрак той, другой матери, нет, не так – призрак матери, какой та была до злополучной прогулки в лесу, нет-нет да и присаживался на кровать или заглядывал из-за плеча в учебник, раскрытый на уроке. В такие моменты Аля ощущала, будто ее окропляли нежнейшими духами с чудесным ароматом, духами, которых ей никогда не заполучить по причине их дороговизны или потому, что они навсегда сняты с производства. Дуновение счастья, которое могло бы быть, но вот – по какой-то причине – не вышло.

В голове у Али мать раздвоилась: на ту, из прошлого, и ее плоскую копию, подмену. Впрочем, однажды в ивановской матери проступила настоящая. Это случилось, когда Але было лет тринадцать. Осенью она пошла с классом в поход в лес. Собирая ветки для костра, Аля отделилась от других детей, оказалась в красивом месте с толстыми ветвистыми деревьями. На земле лежал упавший высохший сук. Аля принялась разламывать его. Наклонившись в очередной раз, заметила боковым зрением, что деревья вокруг начали сдвигаться. С каждой секундой они оказывались все ближе. У Али от страха заledenели руки, хотя сентябрьский день был солнечный и теплый. Бросив собранные ветки, она кинулась было к поляне, где уже стояли палатки и занимался костер, но деревья не давали ей убежать. Листья оказались повсюду. Она шевелилась, просвечивала на свету, дрожала и вдруг обернулась тучей огромных зеленых мух – они ринулись на Алю и принялись забивать уши, глаза, горло. Аля закричала.

Учительница, схватившая ее за руку, что-то спрашивала, но Аля будто перестала понимать слова. Она лежала на земле. Одноклассники сгрудились над ней и с любопытством рассматривали. Все, что было цельным понятным миром, в один миг распалось на пазлы, которые никак не собирались в одну картину.

В поход из взрослых, кроме учительницы, пошли еще несколько родителей. Один из них отвез Алю домой. Она к тому времени давно пришла в себя. Мать занималась воскресными делами, отчим и Павлик ушли на рыбалку. С неожиданным вниманием мать выслушала отчет

о происшествии, даже спросила подробности, что было на нее совсем не похоже. Когда они остались вдвоем, Дарья Алексеевна велела Але переодеться, нарядилась сама и – совершенно немыслимое дело – повела дочь в кафе. Купила мороженого, сладостей, сока. Сама ни к чему не притронулась. Спросила, помнит ли Алевтина отца. Это было странно, мать сама пресекала любые разговоры об отце.

Аля повторила то, что столько раз рассказывала ей во время переездов, которых, как уверяла мать, не было. «Больше ничего не помнишь?» – «Нет». Дарья Алексеевна долго рассматривала дочь. И вдруг заплакала. Ни до, ни после Аля не видела, чтобы мать плакала. Продолжая глядеть на дочь сквозь слезы, Дарья Алексеевна хотела что-то сказать, но так и не сказала. Когда Аля подбежала и обняла ее, та не отстранилась и даже накрыла своей рукой Алину.

Больше ничего подобного не повторялось. Впрочем, чем старше Аля становилась, тем прошлое все меньше занимало ее. Она думала о будущем. То есть, если точнее, об ожидающей ее любви, непременно – необыкновенной! Читала книжки про любовь – все подряд, не разбирая, где хорошая литература, где бульварный роман. Все любовные истории примеряла на себя. Она не забыла давних слов матери о том, что ничего стоящего, кроме любви, в мире нет.

Иногда после школы Аля добиралась до вокзала, садилась в электричку без билета и выходила через станцию, две, три и гуляла там. Возвращалась домой промокшая, замерзшая, но воодушевленная мечтами о будущем. Летом все дни проводила на реке Харинке – плавала до дрожи в руках и ногах, а в перерыве лежала на горячем песке и читала очередной роман. Дома никто не интересовался, где она была. Ее вещи, их сохранность и чистота волновали мать куда больше, чем она сама. Дарья Алексеевна рьяно стирала, сушила и отглаживала одежду дочери. Она тратила на это прорву энергии и сил, малой толики их хватило бы на теплое словечко. Но нет. Редкие разговоры сводились только к бытовым темам. К окончанию школы Аля уже знала, что уедет из Иваново. Казалось, мать хотела этого не меньше.

2005, апрель, Москва

– И долго Барса прожила? – изучая фотографию, спрашивает Аля.

Актер поворачивается к ней и смотрит так, словно наткнулся на новогоднюю игрушку в летний день.

– Кстати, твои американские ботинки стали мне впору только на следующий год.

Поморгав, поднимается. Находит трусы, натягивает, встав к Але спиной. Теперь джинсы. Будто ему вдруг стало неловко. Будто Аля, уже низвергнутая в страну теней, восстала из праха и снова обернулась человеком.

– Побудь минутку.

Проходит мимо, слышится скрип двери, потом шум спускаемой воды. Возвращается: ресницы, зачатки бороды – мокрые, глаза – речной песок под прозрачной водой. Внимательно смотрит на нее.

– Кофе будешь?

– Если только быстро. Мне на лекцию пора.

На кухне включает кофеварку. Кухня обычная, почему-то Але казалось, что актеры живут как-то по-особенному. Впрочем, Духов же не Безруков там или Меньшиков. У плиты лежит прихватка в русском стиле – красные ягоды, золотистые листья и загогулины, черный фон. Кофеварка, пошумев, стихает, кофе весело, бодро капает в стеклянную емкость. Духов достает две чашки, из тех, с глупыми надписями и сердечком на боках, разливает кофе.

– Сахар, молоко?

Нашелся даже хлеб, масло и джем – этот в коробочке, из поезда или Макдоналдса.

– Как в учебнике английского, – говорит Аля.

– Что?

– Ну помнишь... Семья за столом: папа, мама, девочка и мальчик – там было всегда двое, а то и трое детей. Стол накрыт – хлеб, масленка, нож, чайник, чашки, джем в банке. Папа просит маму: “Pass me the jam, please”. Я всегда завидовала. Тоже хотела такую семью.

Странно смотрит на нее, мешает ложечкой кофе. Аля вспоминает, что вчера оконфузилась, не признав каких-то известных фамилий и названий, которые он произносил с придыханием. Может, и сейчас неправильно воспроизвела английское предложение?

– Я помню кота у окна, – говорит он. – В учебнике английского. За окном дождь, мокрые крыши. Кот скучный. И надпись, что-то вроде: “It is raining now”.

Волосы у него темнее, чем в детстве, а лежат так же безупречно, хотя он разве что провел по ним рукой. Немного наивный взгляд.

– Так что стало с твоей собакой? Той, с белой шерстью?

– Умерла лет семь как. Сейчас у Ивана Арсеньевича другая, тоже Барса, но золотистый ретривер. Та была белой овчаркой.

– У Ивана Арсеньевича?

– Константиновича. Собака, про которую ты спрашиваешь, была его. И дом его. На фотографии, кстати, тоже он.

Аля откусывает бутерброд.

– Это режиссер, про которого ты мне всю ночь заливал? У кого ты работаешь?

– Да. Он и мой отец – друзья детства. То есть были. Ну то есть... ладно, это неважно. Так это правда ты? Та девчонка, которая с матерью вышли в тот день из леса?

– Правда я, – Аля смеется. Она чувствует себя так, будто глотнула веселящего газа.

Но он не улыбается, снова мешает ложечкой кофе.

– Какое на тебе было платье в тот день?

– Что?

– Платье. Ты помнишь?

Она помнит. Говорит. Он всматривается в ее лицо, подается вперед:

– Расскажи про тот день. Подробно.

– На подробности у меня нет времени. – Она делает большой глоток горячего кофе, обжигает язык и небо. – Если только вкратце.

Торопясь, пересказывает все, что удержалось с той поры в памяти.

– А что потом?

– Потом мать оказалась в больнице с энцефалитом, а я в интернате.

– Так ты жила в детском доме?

– Два года, потом мама меня забрала. Но она уже... – Аля пытается подобрать слова, чтобы объяснить, в чем было это необратимое изменение, но тут Духов кое-что произносит, и Але кажется, будто в кухню вплыл айсберг.

Удивительно, что догадка, откуда у матери оказались деньги на гостиницу и прочее, ей никогда не приходила в голову. Она ни разу не задала себе этот вопрос. Хотя знала, что с собой у Дарьи Алексеевны не было ни сумки, ни кошелька, а на платье не было карманов. В лесу мать как-то разделась догола, чтобы прополоскать белье в ручье. На склоне берега остались платье и туфли: разношенные, кожа растрескалась, внутренности засалились и стерлись до блеска. Аля помнит: в туфлях ничего не было, кроме темной пустоты.

– Родители вернулись к вечеру и сразу обнаружили пропажу денег. Я рассказал о вас, даже нарисовал, но они мне не поверили. Решили, что это я украл деньги. Отец в те дни продал дом, потому-то мы и жили у Ивана Арсеньевича. Твоя мать взяла пятьсот долларов, не всю сумму, дом продали за три тысячи. Если бы это были воры, говорил отец, они бы не вытащили пять сотен, а забрали все до копейки, да и еще что-нибудь прихватили.

– Я ничего этого не знала...

– Да я не то чтобы... Просто так странно – что ты оказалась тут.

Аля смотрит на часы на стене. Первую пару она может пропустить, она на нее и так уже не успеет, но на вторую должна попасть – Жуковский опоздавших не пускает и потом чинит препятствия перед экзаменами.

– Больше чем из-за потери денег родители расстроились из-за того, что я оказался вором. Они перетряхнули мои вещи – ничего, конечно, не нашли. Мать увещевала, отец грозил, требовал. Особенную ярость у него вызывали мои попытки рассказать о тебе и твоей матери. Я продолжал вас рисовать, вешал рисунок на кухонный буфет, а отец срывал и раздирал в клочья. Воровство с фантазией свидетельствовало о моей изначальной гнилости, как он выражался. Ночью родители спорили. А вдруг Макар говорит правду, защищала меня мать. Отец от ее слов еще сильнее распалялся и кричал, чтобы она зарубила себе на носу, что он не потерпит в доме вора и вруна. Когда вернулись в Москву, отец продолжал допросы, грозил пойти в школу и рассказать всем, кто я на самом деле. Кричал, что, если я не сознаюсь, он посадит меня или, если это не выйдет, покалечит, чтобы я на всю жизнь запомнил. Для его сына честь не может быть пустым звуком! Это был 1992-й, отец находился на грани. Для него партия, честь, Советский Союз – это было всерьез, это была его жизнь, это был он сам. И тут вдруг над всем этим, над его идеалами начали смеяться, говорить, что это ошибка, глупость, ну, сама знаешь... А тут еще я. И он решил сыграть в такого Тараса Бульбу.

Он умолкает. Аля разглядывает чашку. Тишина растет, стремительно заполняет собой все пустоты в комнате, пролезает в горло, дышать становится тяжело, невыносимо – но тут тишина и лопается: створка окна распахивается настежь и громко ударяется о фасад дома.

– Не знаю, чем бы кончилось, – говорит Духов, кроша хлеб на столе, – если бы не Иван Арсеньевич. Константинович. Он забрал меня к себе на некоторое время. В школу я не ходил, был с ним в театре, носил актерам лимонад, пиво, бегал, за чем пошлют. Бродил по театру. Иван Арсеньевич поверил мне, просто поверил. Я жил у него около месяца. Он возился со

мной, тратил на меня уйму времени, хотя уже тогда был очень занятой и достаточно известный. Сам выбирал мне книги, водил на спектакли в другие театры, спрашивал меня, что я думаю о том и том-то.

Але неловко от этой внезапной исповеди. Она не понимает, как теперь встать и уйти.

– И зачем же он это делал?

– Иван Арсеньевич всегда был мне вроде второго отца. – Духов скрещивает руки на груди, собирается, видимо, рассказать длинную историю. – Он и мой отец дружили с трех лет, подростками, между прочим, даже принесли кровавую клятву, как Огарев и Герцен. Оба после школы уехали из Выселок, но летом приезжали и отдыхали вместе. Рыбачили, ходили в лес. Часто брали и меня с собой. В Москве тоже встречались. Но до того случая Иван Арсеньевич никогда не вмешивался в наши семейные дела. Я прожил у него с месяц. Однажды вечером он привез меня в ресторан, предложил выбрать все, что я хочу, велел не стесняться. Налил себе и мне вина, торжественно вручил статуэтку святого Антония, ты ее видела. Сказал, что я чем-то напоминаю его, этого святого. А потом спросил: как ты смотришь на то, чтобы стать актером? Я ответил, что хочу этого больше всего на свете. Он обрадовался моим словам и пообещал, что поможет. После ресторана отвез домой, сказал, что отец больше не сможет меня обвинять. Он, Иван Арсеньевич, нашел свидетелей, которые видели, как я довел вас до станции. По описанию свидетелей сходилось все, даже одежда и шрам на щеке твоей матери. Иван Арсеньевич пообещал, что попробует найти и вас самих. И еще сказал, что я могу приходить к нему в любой момент, в театр или домой. И, конечно, наши прогулки и разговоры продолжатся.

Когда приехали домой, отец был пьян и заявил, что не знает, кто мы такие, и послал мамом туда, откуда пришли. «А свидетелей, – сказал он, – ты, Иван, можешь засунуть себе в жопу. Этих актеришек своих». Он попробовал нас вытолкать, но был слишком пьян даже для того, чтобы сделать несколько шагов. Тут вмешалась мать, увела меня и закрыла на ключ.

До сих пор помню это чувство, когда я оказался в своей комнате. Я ощущал себя предателем, хотя и понимал, что ни в чем не виноват. А еще... ты не представляешь, как я был рад, что Иван Арсеньевич поможет мне стать актером. У меня появилась цель, я вернулся домой совсем другим мальчиком.

Зачем он это ей рассказывает? Аля ерзает на стуле: и вот как ей встать и уйти? И что вообще теперь делать? Встает Духов, подходит к окну, опирается о подоконник.

– Утром я боялся встречи с отцом, но он, увидав меня, ничего не сказал. Он вообще перестал со мной разговаривать. Как и с матерью. Иван Арсеньевич, как и обещал, стал забирать меня на выходные. Записал в детскую театральную студию, находил время, чтобы прийти на наши спектакли. Я обожал проводить с ним время. А между матерью и отцом стало все совсем плохо, отец ушел жить в дедушкин гараж. А потом уехал на Кубу.

– На Кубу? – От изумления она даже забывает о побеге. – И он до сих пор там?

– Вернулся в прошлом году. Живут с матерью на даче под Александровом.

– Понятно.

Она смотрит на часы: до второй пары осталось совсем ничего.

– Я... прости... Мне нужно, правда. Я потом... мне надо идти...

Она встает со стула и пятится в прихожую. Выглядит это так, будто она сбегает. Да она и сбегает. Актер идет за ней. Молча глядит, как она одевается. Она, торопясь, накидывает короткое зеленое пальто. Сует ноги в туфли, купленные три дня назад на распродаже, мозоль тут же дает о себе знать. Прежде чем открыть дверь, Аля поднимает взгляд на Духова, пытается подобрать уместные слова, но так ничего и не придумывает. Толкает дверь и мчится вниз по лестнице.

Спустя сорок минут она снова была на лестнице, на этот раз – широкой, старинной. Налаченные прикосновениями тысяч студентов деревянные перила. Стертые посередине сту-

пени, чуть оплывшие, точно губы после долгих поцелуев. Запыхавшись, влетела на третий этаж, остановилась у закрытого лекционного зала. Все-таки опоздала. Из-за двери доносился голос Жуковского – доцента, заменившего милого профессора Алексейко, умершего в начале декабря. Зимнюю сессию принимал уже Жуковский и завалил больше половины курса. Але поставил тройку, заявив неприязненно, что она должна знать больше своих будущих учеников. В результате Аля лишилась надбавки к стипендии. На первой же лекции Жуковский отметил присутствующих и пообещал, что те, кто не будет ходить, экзамен не сдадут. Угрозу восприняли всерьез – после зимней сессии милостью Жуковского четверых отчислили.

За дверью шла переключка. Зря мчалась. Отдышавшись, а точнее нахлебавшись пыли, запахов бумаги, старой мебели, пота и сигарет, навечно плененных в коридоре учебного корпуса, Аля собралась уже повернуть обратно, но тут дверь распахнулась, и Жуковский шагнул из аудитории.

– Понимаешь, я волнуюсь, – говорил он в мобильный, – это похоже на депрессию... я думал, в таком возрасте не бывает... Да?.. Из дома перестала выходить... А? Ну... Да, очень прошу... В воскресенье?

Рыжие усы. Наметилось брюшко. Новый, но старомодный костюм. У Жуковского, или, как его звали студенты, – Два Андрея, все было такое: старомодное, но с иголки. Портфель, часы, ботинки, даже зонт – будто из пятидесятых, хотя самому Жуковскому вряд ли было больше тридцати. Студенты любили шутить, что Два Андрея обнаружил портал в прошлое и закупается теперь там всем необходимым. Девочки временами всерьез обсуждали постройку его трусов. Черные, чуть не до колен, как на фотографиях середины прошлого века? Или, может, кальсончики?

Аля проскользнула в аудиторию и, торопливо снимая на ходу пальто, уселась повыше на свободное место рядом с Кирой. Даже Кира ходила на лекции Жуковского.

– На какой букве Два Андрея остановился?

– На «М».

Она надеялась, что Жуковский ее не заметил и, вернувшись, не выставит с позором. Тот возвратился и продолжил переключку. Аля выдохнула, осмотрела аудиторию и увидела, что на два ряда ниже сидит Куропаткина. Светлый хвост волос на затылке, красные ногти сжимают ручку. Глядя на ее детский затылок, Аля почувствовала себя так, будто обидела ребенка, нарочно сломала его любимую игрушку. Вчера, получив автограф Духова и немного поговорив с ним про спектакль, покивав на его слова о прорыве Константиновича в театре, Куропаткина заявила, что ей нужно идти. «Ты идешь?» – спросила она Алю. Лучше бы Аля и вправду ушла.

Жуковский дошел до буквы «С»:

– Соловьева.

Она откликнулась, Жуковский поставил в блокноте галочку. Завершив переключку, приступил к лекции. Але писать было не на чем, в сумке лежали только зонтик и книжка, которую дал ей в сквере Духов. «В то время перед Россией на международной арене стояли две главные задачи...» – бубнил Жуковский. Мысли Али побежали во все стороны, как муравьи, когда муравейник разорили. Ее мать, выходит, воровка. Украла деньги у мальчишки, который пустил их в дом, напоил чаем, дал передохнуть после блуждания по лесу. И Аля в этом участвовала. В преступлении, настоящем преступлении, за которое судят и срок дают. Можно ли теперь считать, что она тоже воровка? Или все же нет, раз она не знала о том, что совершила мать? Но почему Аля и в самом деле никогда не задавала себе вопрос, откуда у матери оказались деньги? Ни разу не удивилась этому? Впрочем, все что случилось тогда в лесу и сразу после, всегда существовало в ее сознании как-то отдельно, точно было не совсем реальным.

– Ты знаешь такого режиссера – Константиновича? – шепотом спросила Аля у Кире.

Та, вместо того чтобы записывать лекцию, рисовала в тетрадке иву. Посмотрела на Алю, пожевала карандаш, собрала в складки тонкую кожу на лбу.

- Я смотрела один его фильм. «Воробышек», что ли.
- Фильм? А разве у него не театр?
- А, ну да. Но он еще кино снимает. Три, что ли, фильма снял. Хочешь – дам посмотреть этого «Воробышка», у нас диск есть.
- Давай.
- Заходи сегодня попозже. Сейчас обратно на Арбат поеду, пока там Тропик за меня работает.
- И что, – немного погодя снова спросила Аля, – хороший фильм? Тебе понравился?
- Кира пожала плечами:
- Ну, за этот фильм премию какую-то дали. Но вообще, про него, про режиссера, в смысле, всякое такое пишут... – Кира изобразила рукой зигзаг и снова уткнулась в рисунок ивы.
- Какое – такое?
- Ну, вроде как он нечисто работает с актерами. – Отложив карандаш, Кира повернула голову к Але. – Говорят, одной актрисе, – Кира назвала фамилию, – перед съемками он заявил, что ее двухмесячный ребенок умер. Съемки велись на острове, катер должен был прийти только через неделю, так что... Ну, понимаешь. Ей и играть-то не пришлось.
- И что актриса сделала, когда все выяснилось?
- Тропик ее знает немного. Снимается дальше, говорит.
- Кира принялась опять грызть карандаш, а потом рядом с ивой молниеносно нарисовала портрет Жуковского: крошечный, в аккуратном костюме, а усы и портфель – огромные.
- Господи, скука какая эта лекция. Отравить, что ли, это чучело крысиным ядом?
- Обе помолчали и, выдержав паузу, почти одновременно прыснули.
- Кир, с тобой когда-нибудь происходило то, что происходить не могло?
- Что ты имеешь в виду?
- Ну, например, случайная встреча с человеком, с которым ты никак не могла встретиться?
- Кира – она снова рисовала что-то – поджала тонкие губы:
- Такое у всех бывает.
- У тебя было?
- Было, – кивнула, но рассказать и не подумала. Это ж Кира.

В перерыве Аля поднялась с места и направилась к Куропаткиной поговорить о вчерашнем. Та, угадав ее намерение, собрала вещи и побежала по лестнице.

– Оль, подожди.

Не остановилась. Солнечный мячик запрыгал на лопатках, обтянутых синим пиджачком. Обиделась все-таки...

И как вскоре выяснилось, обиделась всерьез. Первое, что увидела Аля, вернувшись в общежитие, – пустую кровать Куропаткиной. Матрас был скатан к изголовью. Все вещи соседки исчезли. Аля закрыла дверь, подошла к кровати и потрогала жесткие негритянские пружины-завитки обнажившегося основания. Подняла с пола синюю пуговицу от халата Оли. Покрутила в руках: пуговица фонила энергетикой Оли.

Положив пуговицу на полку над своей кроватью рядом с учебниками и книжками – Хемингуэй, Пруст, Куприн – Аля вынула из сумки книжку Акутагавы, подаренную Духовым. Открыла. На форзаце аккуратным почерком было выведено: «Экхарт сказал: “Кто хочет стать тем, чем он должен быть, тот должен перестать быть тем, что он есть”». Росчерк подписи Духова. Фыркнула. Какая чушь. Захлопнула, поставила на полку. В опустевшую сумку засунула пакет с купальными принадлежностями и полотенце. Эту полотняную, с аппликацией желтых бабочек, летящих над городом, сумку Аля получила осенью на книжном мероприятии, куда

случайно забрела. Сумка была удобная, две липучки закрывали ее сверху, а внутри был даже кармашек – дизайнер увлекся, выпуская рекламный продукт. В кармашке лежали студенческий билет, проездной, жевательная резинка, презерватив на всякий случай и иногда немного денег.

Бассейн через сорок минут. По карнизу за стеклом, заляпанным солнечными отпечатками, бродил голубь. На спортивной площадке внизу во дворе студенты играли в футбол, их крики и стук мяча о штангу складывались в монотонный ритм, напоминающий о каких-то очень давних событиях, скрытых в сырых и темных подвалах памяти. Аля закинула сумку на плечо, взяла печенье из раскрытой пачки на столе и вышла из комнаты. Щелчок – английский замок на двери захлопнулся.

По дорожке к приплюснутому зданию бассейна бежали ели. Трава под ними зеленела, от ее веселого вида сердце подпрыгнуло трехлеткой на батуте. Ты идешь, весна! Это... да, из «Монтока» Макса Фриша. Пожилой герой вспоминает прошлую любовь, а в настоящем у него что-то вроде отношений с молодой женщиной Линн. Что-то вроде, вот именно. Ничто в сравнении с тем, что он пережил когда-то. Так всегда бывает в романах, а Аля прочитала их бесчисленное количество: все, что потом, после той единственной любви – уродство, ущербность, ну или компромисс.

Она толкнула теплые, нагретые солнцем двери, вошла в сумрачный холл бассейна. Сдав полупальто в гардероб, бегом спустилась в раздевалку, получила ключ от ящичка у дежурной. Быстро разделась. Она умела быть быстрой. «Тебе бы в армию», – хихикала Оля, когда они куда-нибудь собирались. Оля должна была плавать сейчас на одной из дорожек, весь год они ходили сюда на один сеанс.

Аля собрала волосы, они все так же, как в детстве, были густы, непослушны и с трудом прочесывались. Все того же цвета сосновых шишек. Оля советовала их коротко стричь и красить в яркий цвет – рыжий, например, или черный. Но Але не хотелось быть другой какой-то Алей. Она вспомнила автограф Духова. И что за радость быть кем-то другим? С трудом натянув резиновую шапочку, захлопнула ящик, отдала ключ дежурной – крупной женщине, перед которой был раскрыт журнал с миниатюрными собачками.

Зашла в одну из кабинок в душевой. Вода обрушилась, ударила о голову, плечи, разбилась насмерть о белые плитки на полу. Перед глазами возникла комната в гостинице, где Аля с матерью останавливались тринадцать лет назад. Из хаоса воссоздался заставленный яствами подоконник. Двухспальная кровать, не убранная ни разу за те дни. А вот и мать со стаканом в кресле. Подзабытое чувство тоски, потери сжало горло. И что вот теперь делать? Аля закрыла кран.

В зале бассейна людей было много. Электронное табло показывало 16:08. Приглушенные голоса, всплески, смех уносились под высокий потолок, придавая значимость происходящему, вроде как эхо в церкви придает значимость голосу дьякона и шагам прихожан. Дух бассейна, взволновав водное зеркало, подлетел к Але, весело дохнул в лицо хлорным ветерком, сыростью, запахами размякшей резины и промокшего полиэстера. Поздоровавшись, тут же улетел и вон уже плыл по средней дорожке, размахивая руками, счастливо отфыркиваясь и брызгаясь во все стороны.

Куропаткиной нигде не было. Сняв сланцы, Аля спустилась по металлической лесенке, щурясь от яркости и резкости воды, от движущихся осколков голубых плиток, тщетно пытающихся обрести целостность. Набрав воздуха, нырнула. Кровавую мозоль на пятке от хлорированной воды больно защипало. Тяжесть тишины надавила на уши и голову. Протерпев, сколько смогла, Аля вынырнула, жадно вдохнула и долго, расслабляясь, выдохнула. Поплыла спокойнее. Мать посылала ей небольшой перевод каждый месяц, и Аля на него покупала абонемент в бассейн со студенческой скидкой, два килограмма макарон и пачку чая. Оля смеялась – ее отец привозил им продукты каждую неделю. Все, что положено молодым растущим организ-

мам, как он выражался, – молоко, мясо, крупы, фрукты и обязательно любимый Олей шоколад. Теперь Але придется забыть про шоколад и питаться макаронами.

Едва она подумала про еду, как во рту появился вкус шоколадного кекса тринадцатилетней давности. Сердце неприятно сбилось с ритма. Она ускорила шаг, перешла на кроль. Принялась резать руками воду, вдыхая и выдыхая, опуская лицо в шелковистую голубоватую ткань. И вот уже она и вода – одна субстанция, одна дыхательная и нервная система. Два, три, четыре прогона на пределе возможностей. Тяжело дыша, повисла на буйках. Плавание всегда помогало прийти в себя. Вода визуально сплющила тело, смешно укоротила ноги. Купальник у Али был черный, в желтых зигзагах, материя потеряла цвет и растянулась, застежка спереди от хлорки потемнела и поржавела. Надо бы купить новый, но не на что.

Вот как она поступит: выкинет из головы встречу с Духовым. В конце концов, сама она денег в тот августовский день не брала. А с Куропаткиной помирится. Да, так и сделает. Аля нырнула, вынырнула и, легкая, почти невесомая, понеслась вперед, к бортику, испещренному бликами, оттолкнулась от него и устремилась в противоположном направлении.

Вечер она провела с книжкой, которую начала недавно, – «Под покровом небес» Боулза. Читала до заката, поворачивая страницы так и эдак, пока угасающий воспаленный свет позволял различать буквы. Пустая кровать Куропаткиной глядела с укором. Но вот кровавые вспухшие раны на полу (можно было подумать, что пол кто-то от души отхлестал плеткой) начали гаснуть, темнота расплзалась по углам. Аля поднялась, включила лампу. Со спортплощадки до сих пор доносились крики, стук мяча и песнопения птиц. Нужно что-то поесть, а потом заняться курсовой – сроки почти вышли.

Она открыла хлипкую дверцу встроенного в стену шкафа и осмотрела запасы – масла подсолнечного на донышке, банка соли, полпачки макарон, гречка, две луковицы и полупустая бутылка кетчупа. Почти все продукты Оля забрала. От злости, обиды? Добрее Куропаткиной человека не сыскать. А может, подумала Аля, так проявилась ее, Оли, новая сущность? Как там написал ей этот Духов: кто хочет стать тем, чем он должен быть, тот должен перестать быть тем, что он есть. Эта фраза продолжала ныть в душе, никак не получалось понять ее. Разве все кругом не твердят, что нужно быть собой? Стать собой. Не изменять себе? Аля взяла кастрюлю, засунула в нее пакет макарон, соль, прихватила дуршлаг и направилась в общую кухню.

Четыре плиты, две раковины, стол на пляшущих ножках, голая, но очень яркая лампочка, темное окно без штор, за ним луна меж двух высотных домов. Двое парней, по виду первокурсники, жарили яичницу. Толстая девушка в очках и очень тесных спортивных штанах варила картошку и нарочито не смотрела (смотрела во все глаза) на ребят. Они ее не замечали, с жаром обсуждали какие-то волны. Ожидая, пока закипит вода, Аля высунулась в окно – воздух был теплый, ласковый, луна висела почти полная. На карнизе третьего этажа у водосточной трубы сидел, притворившись барельефом, один из котов комендантши и смотрел в весеннюю ночь. Подсохшая кровавая мозоль на пятке больно натянулась. Может, сходить к Кире и Тропику и попросить пластырь?

Немного погодя у себя в комнате она переложила макароны на тарелку – настольная лампа подсветила дымок, и тот заструился под темный потолок. Без Куропаткиной комната казалась большой и безжизненной. Почему Оля *так* обиделась? Духов не ее парень, а всего лишь кумир, божок. Или, может, ее расстроило то, что кумир оказался обычным бабником? Аля попыталась припомнить, что Куропаткина говорила о Духове. Начиная с сентября та без конца щебетала об этом актере, но Аля обычно ее не слушала. Так ничего и не вспомнилось.

Выдавлив последние капли кетчупа, Аля съела нехитрый ужин. Сдвинув тарелку, достала папку с листами курсовой. Раскрыла тетрадь с записями. «Успеху дела главным образом способствовало то обстоятельство, что в Москве Прохоровым совсем не было конкуренции: все

ситценабивные фабрики после нашествия французов находились в полном разрушении». Ее курсовая была посвящена текстильному производству в Москве в девятнадцатом веке. Фабрики. Ткани. Станки. Организация работы. Сбыт. Аля зевнула. Посмотрела в окно – темнота, деревья очеловечились и всю махали руками-ветками. Хотели что-то сказать, но не умели. В темноте показалось, что их не жиденькая стайка, а лес, которого Аля до сих пор страшилась: после того случая в школьном походе были и другие, и всегда в лесу. Нет, не сегодня. Закрывает тетрадь, поднялась, вышла из комнаты и через пять минут – два пролета лестницы бегом – уже стучалась к Кире и Тропику.

Тропик – мулат, полный, с атласной кожей цвета светлого кофе, пухлыми губами и веселыми крупными глазами – как раз готовил ужин. Обрадовался, потянулся обниматься:

– Аля, привет! Где пропадала? Давно тебя не видел.

От кожи Тропика остро пахло смесью гвоздики, душистого перца, базилика и цитрусовых. Его мать была из Владимира, а отец – из маленькой страны в Африке. Сам Тропик вырос во Владимире, а теперь каждый год ездил на месяц в Африку. Все звали его Тропиком, хотя имя у него было вполне русское – Паша. По вечерам он носил африканские балахоны-халаты, а с утра надевал классический костюм и белую рубашку. Сейчас на Тропике колыбался длинный желтый балахон-платье с рисунком на груди из несуществующих, как думалось Але, фруктов.

На кухонном столе громоздилась курица, блестели корки и внутренности овощей, стояли в ряд несколько открытых загадочных банок с пастообразными субстанциями, лежали пакетики с порошками. Тут же разогревалась двухварочная электрическая плитка.

– Ужинать будешь?

– Нет, спасибо, я уже поела. У вас есть пластырь?

– Это к Кире, – кивнул на задернутую бамбуковую ширму.

Аля заглянула за ширму, которая отделяла импровизированную кухню от комнаты. Почти все пространство тут занимала двуспальная кровать, она была покрыта ярким пледом: на красном фоне квадраты с буйными разноцветными геометрическими узорами. Кое-как вместились в комнату еще стол, два стула. На вбитых в стену гвоздях висели распятые на плечиках костюмы Тропика, рубашки. А еще африканская маска и Кирилл пейзаж – заснеженный подмосковный лес. Экзотические запахи готовящегося ужина бились здесь с запахами красок и скипидара. Кира, в темных джинсах и майке, маленькая, худая, с короткой мальчишеской стрижкой, стояла у окна у мольберта. Узкая спина ее казалась усталой. Баночки с красками, заполонившие весь подоконник, отражались от стекла и бесконечно множились.

– Разве художники пишут под искусственным светом? – удивилась Аля.

– Ну, это ж Кира. – Тропик появился за спиной Али. – Она всегда работает.

– Пять минут, – сказала Кира, не оборачиваясь. На мольберте зеленел лес, веселый ручей тек по каменистому дну оврага.

Тропик снова увел Алю на кухню, усадил, налил виски. Аля сделала большой глоток, потом еще и ощутила, как напряжение сегодняшнего дня превратилось в темную кошку, та выгнула спину и убежала куда-то в другую реальность. Руки Тропика быстро и ловко расправлялись с курицей – резали на куски, втирали специи кончиками пальцев. Аля, не заметив как, рассказала ему о Духове.

– Помнишь актера, по которому Куропаткина вздыхала весь год? Вчера мы ходили на его спектакль, взяли автограф, а потом вышло так, что Оля отправилась домой, а я провела у него ночь. Ну да, не смотри на меня так. А сегодня она съехала из комнаты. Не разговаривала на лекциях со мной. Не пришла в бассейн. Я, наверное, виновата, но, слушай, ведь она с этим актером даже знакома не была, просто его фанатка... Как считаешь, я поступила ужасно?

– Ты поступила непорядочно. – Тропик строго взглянул на Алю и тут же весело рассмеялся, подлил ей и себе еще немного виски. Отпил. Бросил куски курицы на вторую сковородку, на первой уже весело скворчало жарено из овощей, благоухающих чужеземными пряностями.

– Да эта Оля все равно что семиклассница, – раздался из-за ширмы голос Киры. Оказывается, она слушала их разговор. – Рано или поздно невинность все теряют. Я не про секс... Детский кокон этой дуручки, наконец, раскололся. Ты ей услугу оказала. Теперь она взрослая.

– Не факт, – парировал Тропик. – Процесс потери невинности бесконечен. Думал – потерял, ан нет.

– Не говори ерунды. – Кира за ширмой что-то складывала, чем-то звякала, постукивала.

– Я старше и мудрее тебя, девочка Кирочка. – Тропик засмеялся. Его гладкое темнокожее лицо, расплывшийся нос, замаслившиеся полные губы, грудь под балахоном – засмеялось все, даже пальцы на ногах – чистые, отмытые – подпрыгнули на белых сланцах. Тропик Але ужасно нравился. Между ними установилась связь, природу которой определить было непросто. Але рассказывала Тропику обо всем, что ее беспокоило. Он единственный знал о ее странном детстве.

– Так, говоришь, твой актер играет у Константиновича? И как его фамилия?

– Духов.

– Нет, не слыхал.

Тропик знал многих театралов, киношников, певцов и художников. Он интересовался всем, что происходило в искусстве. И не только интересовался, но и как-то зарабатывал на этом. Але, правда, точно не знала как.

– Ничего удивительного, он там, похоже, на подхвате. В спектакле играл Миколку.

– Миколку? Это что за спектакль?

– По «Преступлению и наказанию».

– А разве там есть какой-то Миколка?

– Вот, – Кира появилась из-за ширмы и протянула Але диск. От рук ее пахло скипидаром.

– Спасибо. – Але только сейчас вспомнила разговор, который у них состоялся на лекции, и свое обещание вечером зайти за фильмом Константиновича. – Кир, а пластыря у тебя нет?

– Сейчас.

Снова ушла за ширму, Тропик скосил взгляд на обложку диска:

– «Воробышек»? Ну-ну, рискни. А на чем будешь смотреть?

– Не знаю еще.

Тропик важно, наигранно почесал подбородок:

– Если останешься покушать с нами, тогда получишь на сутки телевизор с DVD.

Ага, съешь моих румяных пирожков, тогда скажу. Тропик, несмотря на свой африканский вид, чем-то действительно походил на толстую одышливую печку из иллюстрации к русским сказкам.

– Ты сам-то смотрел?

– Я все его фильмы посмотрел. Мне больше нравятся экранизации.

– А у него есть экранизации?

– Первые фильмы «Солдат» и «Они не сдадутся» Константинович снял по повестям Васильева и Горбатова. Но фильмы не пошли, началась уже вся эта перестроечная пляска. Константинович не снимал почти десять лет, занимался исключительно театром, и только в 98-м появился «Воробышек».

– Там манипуляции, – сказала Кира, открывая крышку у сковородки и задумчиво рассматривая готовящееся блюдо, точно прикидывая и оценивая его пропорции, цветовую гамму.

– Да, – согласился Тропик. – «Воробышек» – сплошные манипуляции. Но я вот люблю, когда со мной возятся, ищут мои слабости, используют их. И когда что-то меняют у меня в голове без спроса. На Киру это не действует.

– Меня это бесит, – заявила Кира, закрывая крышку. – Я не хочу, чтобы меня подталкивали к пропасти. Захочу – сама подойду.

После ужина Тропик принес и установил в комнате Али телевизор с DVD.

– Тропик, – остановила она его уже у двери, – я не все тебе рассказала.

– Да?

Они сели рядом на пол, прижались спиной к жесткому основанию кровати. Окно было открыто. Где-то на улице орали коты. Тропик достал из кармана самокрутку и зажигалку. Раскурил. Протянул Але. Она затаилась и отдала ему. А потом рассказала о том, кем оказался на самом деле Духов, и что она от него узнала о матери.

– Скажи – что теперь мне делать? Как вообще так случилось, что мы встретились? Разве так бывает?

– Ну, в жизни много чего бывает, – глубокомысленно заявил Тропик. – У меня была одна знакомая. Однажды она ехала в поезде, ну такие сидячие, межгород, знаешь? И вот напротив нее уселся старикан, в котором она узнала человека, который совратил ее, когда она еще училась в школе, держал в страхе и подчинении какое-то время, угрожая, что иначе всем, в том числе ее родителям, расскажет, какая она маленькая шлюха.

– И что она сделала?

– Да ничего! Он был совсем старый. Помогла выйти из вагона, когда он чуть не упал.

– Не может быть! Она наверняка наврала тебе.

– Не думаю. Хотя кто знает... Вообще-то это была моя мама.

– Шутишь?!

Тропик вздохнул. Аля положила голову ему на плечо, взяла протянутую самокрутку и затаилась.

– Может, твоя мать, Алька, была в отчаянии, ты же не знаешь...

– Эти пятьсот долларов – как думаешь, я их должна теперь?

– С чего бы?

– Правда?

– Конечно, раз не брала. А вот Кира бы отдала. – Он засмеялся. – Ладно, я пойду, Кире пора сказку на ночь читать.

Аля фыркнула.

– Зря смеешься. Я говорю чистую правду. Я каждую ночь читаю ей африканские сказки.

Проводив Тропика, Аля уселась перед телевизором, нажала кнопку на пульте – появился красный экран, низкий, властный голос произнес: «Воробышек». Когда фильм дошел до середины, она, возмущившись происходящим на экране, решительно выключила DVD. Улеглась в кровать, поджала ноги и накрылась одеялом с головой – тонким, на пододеяльнике синий треугольный штамп «Общежитие № 2». Однако через некоторое время поднялась и снова включила фильм. Раза два ставила на паузу, но все же, зареванная, досмотрела фильм до конца.

* * *

Через два дня Аля переминается с ноги на ногу у служебного выхода театра, ожидая, когда кончится спектакль. В этот раз Духов выходит одним из первых. Упирается в нее взглядом. Подходит, берет за запястье, увлекает за собой. Шагает широко, Аля едва поспевает за ним, порывается сказать заготовленные слова, но как-то все не может начать. Молча переходят шумную улицу, минуют переулок, второй. Дома тут темны, прячут в подвалах, чердаках, за колоннами и портиками девятнадцатый век, о котором Аля пишет курсовую. (С курсовой, кстати, она затаилась, надо спешить, до майских осталось несколько дней.) Днем здесь распола-

гаются офисы, выходят покурить девушки в юбках и пиджачках, курьеры нажимают на звонки у массивных дверей, поглядывая на каменную сову или оскалившегося льва. Сейчас же квартал мертв, лишь деревья, точно угрюмые стеклодувы, выдувают в тишине почки на ветках.

– Послушай. – Она останавливается. – Я пришла извиниться и сказать, что...

Он перебивает:

– Мы просто съездим к моим родителям. Чтобы поставить точку в этом. Например, в ближайшие выходные? Согласна?

– Сейчас у меня нет пятисот долларов...

– Деньги – это не важно. Это вообще не важно.

– Ну, для меня именно это и важно. Я и пришла сказать, что заработаю их и отдам. Правда, это будет не очень скоро.

– Давай тогда так: я дам тебе деньги, хорошо? В долг. Когда сможешь, тогда и отдашь. А не отдашь, так и не страшно, переживу. Главное – на днях съездить к моим старикам.

– Нет. – Аля отступает на шаг, пропуская мужчину с собакой. – Я сама должна эти пятьсот долларов заработать. В этом и смысл. Ты не бойся, я не передумаю.

– Ну возьми кредит. Понимаешь, мой отец...

– Кредит я не буду брать. Сама заработаю и отдам. И я еще хотела... В общем, извини, что я и мать... что так все получилось тогда... и ну да, в общем, прости. И скажи, как отсюда выйти к метро.

– Погоди минутку, дай подумать.

Проехавшая мимо машина освещает его бледное сосредоточенное лицо.

– Пошли, – снова берет ее за руку, тянет за собой. Прибавляет шагу, и Але приходится.

– Куда ты меня тащишь?

– Я кое-что придумал.

Пропетляв по переулкам, они оказываются на улице, рассеченной посередине узкой металлической лыжей – трамвайными путями. Прохожих здесь больше. В конце улицы появляется луна. Неизвестно, где она пропадала полвечера, но вот – явилась. Слишком большая, луна безуспешно пытается протиснуться между домами и, судя по обескураженной физиономии, не может взять в толк, какие параметры сегодня не так рассчитала.

Заходят в подъехавший трамвай, садятся друг напротив друга. Аля не знает, о чем говорить, и всю поездку смотрит на луну: та бежит за трамваем и не пропускает ни одного проема между домами, упрямо стараясь втиснуться хотя бы в один. Когда они выходят, луна кидается за ними, сопровождает их до Комсомольской площади, там цепляется за шпиль Ярославского вокзала, но что делать дальше, похоже, не знает и просто висит.

Зато актер явно знает, что делать. Увлекая Алю за собой, он направляется к торговым палаткам, заполонившим площадь между Ярославским и Ленинградским вокзалами. Не дойдя до палаток метра три, велит Але стоять на месте, а сам выбирает продавщицу лет пятидесяти с ярко накрашенными губами, наговаривает ей комплиментов, за что получает пустую коробку из-под шоколадных батончиков. Возвращается к Але и ведет ее, держа под локоть, к выходу метро. Там отдает ей коробку, а сам... исчезает! Вместо него возникает больной и скрюченный парнишка. Худее себя вдвое, шея вывернулась, глаза круглые, птичьи, устремлены куда-то вбок и вверх. Жалобный голосок тянется к прохожим: «Я начал жизнь в трущоба-а-ах городски-и-их и добрых слов я не слы-ы-ыхал...»

Але стыдно и смешно. Покраснев, она смотрит, как падают монеты в коробку. Прохожие останавливаются, прервав стаккато дорожных сумок, вслушиваются, смотрят на поющего бедолагу, и на их лицах рождаются участие и грусть.

С козырных мест Алю и Духова, конечно, прогоняют. Они идут к платформам, запрыгивают в тронувшуюся электричку.

– Но зачем тебе это? – спрашивает Аля в тамбуре, ошав от происходящего.

– Не мне – тебе. Зарабатываем пятьсот долларов.

Актёр снимает с плеча рюкзак, достает дудочку. Аля уже видела ее мельком тогда, в сквере, при первой встрече.

– Так, вот что. Я буду слепой, ты моя девушка.

– Но это же неправда. – Она не знает – смеяться или сердиться.

– Не будь такой серьезной.

И это говорит человек, который жаждет оправдаться перед папой и мамой за детское недоразумение.

Аля протягивает руку к дудочке:

– Раз уж это моя работа, дай попробую. В школе когда-то умела.

Отдав Духову коробку с монетами, берет дудочку, подносит к губам и, несколько раз сбившись, выдает начало «Прекрасного далека». Она выступала с этой мелодией когда-то на школьном концерте.

– Пойдет, – смеется Духов. Надо же, оказывается, он умеет смеяться.

Они входят в вагон, актер произносит нечто вроде вступления. Головы пассажиров при слове *любовь* приподнимаются от книг и газет, от скрещенных на груди рук. Аля не очень умело, но старательно принимается выводить мелодию, а Духов-слепой трогательно хватается одной рукой за ее пальто, а в другой держит коробку. Когда мелодия заканчивается, они идут по вагону, останавливаясь возле тех, кого сумели растрогать. Близится ночь, пассажиров немного. В следующем вагоне запытая Али расслабляются, а ладони перестают напоминать тугие клешни. Дыхание не прерывается, когда не надо, и мелодия получается лучше. Через четыре станции выходят, ссыпают монеты в сумку Али, ту самую, с желтыми бабочками. Договариваются, что в ближайшие дни продолжат.

* * *

Первое, что Аля видит, войдя в кабинет режиссера Константиновича, – витражное окно. Красно-зеленые стеклышки с вкраплениями синего и желтого играют и переливаются, разбрасывая блики на стены и пол. Одна створка открыта, сквозь нее просачивается сквозняк, доносится шум улицы. Константинович – лет пятидесяти, плотный, с широко расставленными голубыми глазами, нос картошкой, крупный подбородок – сидит за столом и черкает на листах, разложенных перед ним. На диване вытянул лапы золотистый ретривер. При виде Али и Духова собака приподнимает голову.

– Барса, уступи место, – говорит негромко режиссер. Голос у него низкий.

Собака спрыгивает, подходит к Але, нюхает, виляет хвостом, но едва девушка протягивает руку, чтобы погладить, громко рычит. От испуга Аля делает шаг назад.

– Барса никому не дается, – говорит Духов.

– Продалась уборщице за сникерс, – ворчит режиссер, не отрывая взгляда от листа бумаги. – Теперь обе дурачат меня и скрывают свои отношения.

Аля и Духов садятся на диван. Мебель в кабинете массивная, основательная. На столе, заваленном книгами и бумагами, на тучном бронзовом основании стоит лампа, ножка у нее толстая, негнувшаяся, а плафон стеклянный, ширококостный, с мелким рисунком. На стене висят фотографии актеров, сцен из спектаклей. А еще две картины в стиле абстракционизма. Одна – комок цветных лент и шаров, размещенных в безупречной, но не поддающейся логике гармонии, – отзывается радостью. От второй хочется отвести взгляд, а потом снова посмотреть – зелено-фиолетовые линии заламываются, точно руки погруженного в горе или безумие человека; сбоку от линий на черной фигуре причудливой конфигурации скачут бордовые крапинки. Обе картины обладают магией, но вторая пугает и манит сильнее.

– Молодой художник, – поясняет, не поднимая головы Константинович, называет фамилию.

– Интересные, – вежливо говорит Аля.

Константинович фыркает. Перечеркивает лист сверху донизу, сбрасывает его на пол и берет следующий.

– А вот тут у меня сплошь молодые, подающие надежду сценаристы. А чувство – будто сунул голову в сундук с нафталином. Еще пару минут, ребятки.

Аля вспоминает «Воробышка». Почему-то она была уверена, что режиссер такого фильма будет выглядеть ранимым, тонкокожим, но ошиблась. Он кажется очень уверенным в себе и каким-то чересчур плотным, что ли, земным. Складывает листы, сдвигает их на край стола к миниатюрной карусели с китайскими фигурками вместо привычных лошадок. Поднимает голову и с интересом глядит на Алю:

– Так, значит, это ты украла пятьсот долларов?

– Нет, – поспешно говорит Аля, – то есть не совсем...

Константинович выбирается из-за стола и оказывается коротышкой. Почти толстый, почти лысый. Крупные и резкие черты лица, массивные руки и ноги – словно набросок, сделанный Пикассо. Рубашка с цветным рисунком, ботинки на каблуках, запах экзотического одеколона. Духов поднимается с дивана. И Але приходится.

– Рад познакомиться, – Константинович протягивает ей руку. Покончив с церемониалом, кивает – садитесь. Сам прислоняется к краю стола, помяв листы со сценариями. От его взгляда, близости, запаха одеколона Але становится неловко.

– Я отдам эти деньги, – покраснев, говорит она.

– Ну, разумеется.

– Я ничего не знала. – Ей ни с того ни с сего хочется оправдываться.

– Не хотела знать, ребенок. Наш мозг очень хитрый. Любит отрицать очевидное. А что твоя мать? Что с ней?

– Живет в Иваново.

– Отличное занятие.

Аля не знает, как реагировать на такое. Минут пять он бросает ей отрывистые вопросы-мячики, а она отбивает, как может. Похоже, та давняя история его не очень-то и интересует, он скорее прощупывает саму Алю, ее реакции. Зачем? Ей это неприятно. Духов не вмешивается, играет с Барсой. Впрочем, режиссер задает и несколько утоняющих вопросов, вроде того, где находилась в тот день в доме ее мать, а где сама Аля, что видела, какие предметы. Не осталось ли у нее каких вещественных доказательств? «Виктор очень недоверчив, да, Макарий?» Аля, подумав, говорит, что у нее есть фотография из детского дома, там она стоит в первом ряду, и на ней те самые американские ботинки.

– Да, рано или поздно во всех историях ставится точка. – Режиссер хлопает себя по коленям, откидывается назад. – Нужно просто дождаться. Ты тогда, Макарий, рассказал слишком много подробностей, деталей – реалистичных, бытовых. Сложно было поверить, чтобы мальчик твоего возраста это придумал. Я так и говорил твоему отцу, но его разве переубедишь. – Зевает. – Простите, ребятки, утром только из Варшавы прилетел. Макарий, сходи в буфет, попроси у Симы кофе.

Макар выходит. Константинович, продолжая опираться о край стола, прикрывает глаза. Повисает тишина. С улицы доносится смех, стук каблуков.

– Что ты хочешь на самом деле? – спрашивает режиссер, не открывая глаз.

– Я? – Аля от неожиданности не сразу находит: – Ничего.

В ответ – нарочито громкий долгий вздох.

– Чем ты занимаешься, ребенок?

– Учусь на истфаке.

– Давай угадаю. – Широко расставленные глаза открываются. – Ты хочешь стать актрисой?

– Вот уж нет, – Аля смеется. Что это еще за нелепица?

– А я, понимаешь ли, подумал, что это такой подкат с твоей стороны. Так ты не актриса и не хочешь сниматься или играть у меня?

– Нет, и в мыслях не было. Погодите, вы мне не верите?

– Наверняка ведь сама напросилась на знакомство? Разыграла небольшой спектаклик, а? Втерлась в доверие?

– Да вы с ума сошли! – Аля вскакивает, от возмущения у нее начинают трястись руки. – Никаких я встреч не устраивала. И вообще, хотела забыть ее, но потом решила, что это нечестно, непорядочно. Что стоит отдать деньги...

– Так ты – порядочный человек?

– Да! Но вам этого не понять. Вы сами непорядочный, раз подозреваете в людях неизвестно что. – Аля берет с дивана сумку, надевает на плечо. – До свидания.

– Да погоди, ребенок. Не сердись. Не поверишь, как, какими только путями ко мне и к моим актерам не подкатывают. Каждый день, какие только анекдоты не сочиняют. Если ты та самая девочка – что ж, я только рад.

Дверь открывается, Духов вносит на подносе серебристый кофейник и тарелку с булочками. Тарелка позвякивает на ходу. Запах корицы, как опытный захватчик, сходу берет в плен территорию кабинета и всех находящихся в нем. Одна атака, и вот уже тяжкие запахи старого здания – затхлости, старья, прошловековой пыли – растворяются, уступив место благоуханию свежей выпечки. Духов ставит поднос на чайный столик со слоновыми короткими ножками. Разливает кофе по чашкам.

– Макарий, у нас семь минут, – говорит Константинович, взглянув на часы на руке, и приглашает кивком Алю к чайному столику.

Она крепче сжимает сумку, раздумывая, не уйти ли. Заметив ее замешательство, Макар стискивает ее запястье и ведет к столику. Несколько дней он готовил Алю к этой встрече, страшно боялся, что она передумает или как-то не так себя поведет. Рано утром приехал к общежитию. Когда она вышла, их уже ждало такси. Ладно, раз для Духова это так важно, она потерпит. Все же это из-за ее матери Макару досталось в детстве.

Барса перебирается за ними, тянет носом. Аля берет одну булочку, разламывает и уже собирается протянуть собаке, как Константинович рывкает:

– Нет, не смей! Ей нельзя больше сладкого сегодня.

Барса возмущенно лает, Аля вздрагивает. Константинович как ни в чем не бывало насыпает ложку сахара в чашку, размешивает и принимается обсуждать с Макаром какой-то спектакль. Эхо от обидного окрика все еще звучит в ушах. Совсем не таким она представляла себе Константиновича после рассказов Духова. Она никак не может верить, что это он снял «Воробышка». Как он вообще смеет думать об Але такое? Дескать, напросилась на знакомство, втерлась в доверие. Надутый индюк в пошлой рубашке. И про мать сказал что-то неприятное.

– Когда маму забрали в больницу, – перебивает она их беседу, сама слыша, как дрожит голос, – большая часть денег осталась в номере. Кто-то из работников гостиницы взял их себе. Мать не так много и потратила. Еда, игрушки для меня, коробка духов...

Константинович ставит чашку. Духов закидывает остатки булочки в рот. Оба глядят на Алю. На столе остается еще несколько булочек, Але бы их хватило дня на три. Ее захлестывает жалость к матери, себе, прошлому, тому номеру в гостинице, где мать пыталась шиковать... Нужно немедленно уйти, погромче хлопнуть дверью, но Аля не может пошевелиться. Да что это – кажется, у нее выступают слезы. Это все воспоминания. Невольные, вызванные унижительным допросом. Это воспоминания вернули ее в те дни, снова заставили ощутить себя потерянной и одинокой, не умеющей дать отпор. Режиссер приближается. Она делает шаг назад.

Но он уже тут, обнимает за плечи, в голосе – теплота, какую Аля давно по отношению к себе не слышала:

– Хочешь посмотреть, как мы будем репетировать?

На освещенной сцене в репетиционном зале уже собрались актеры. Переговариваются, посмеиваются. Девушка с собранными в хвост белыми волосами ходит колесом. Два парня в черных джинсах и майках разыгрывают сценку друг с другом. Полная женщина в длинной цветастой юбке ходит туда-сюда с листом перед собой – ее губы шевелятся.

Актерская братия бурно приветствует Константиновича. Духов забирается к остальным на сцену и, словно перешагнув некую границу, отделяется от того небольшого общего, что возникло у него и Али за несколько дней. Константинович занимает кресло в третьем ряду, приглашает Алю сесть рядом. Ну ладно, она выпьет эту чашу искупления вины до конца. А потом поедет в бассейн и будет плавать так быстро, как только сможет. В зале есть еще зрители, похоже – студенты.

– Ну, начали. – Голос Константиновича, вроде бы негромкий, достигает отдаленных мест в зале.

Духов восседает на какой-то конструкции вместе с другими актерами, ожидающими выхода. Следит за тем, что делают главные действующие лица. Аля быстро догадывается, что играют «Пиковую даму», но действие перенесено в современные условия. Дело происходит в пансионате или санатории. В карты играют на пляже. Полотенце на плечах, бейсболки. У Духова роль одного из картежников. Минуты три он проводит на сцене, два восклицания, бег за унесенной ветром кепкой, и вот он уже снова усаживается на конструкцию.

Константинович наклоняется к Але:

– Что скажешь, ребенок, выйдет из Макария хороший актер?

– А сейчас он разве не хороший?

– Сейчас так, щенок игривый. Но у него есть будущее. Понимаешь? По актерам всегда видно, у кого настоящее, у кого будущее, а у кого – шиш... Ты же на училку учишься? Вот тебе совет: присматривай за теми, у кого будущее, – они самые хрупкие. Если что пойдет не так – сама понимаешь...

– А есть те, у кого только прошлое, – непонятно зачем, видимо, из упрямства говорит Аля.

– Ну, их только пожалеть, время на них не трать. У меня таких и вовсе нет, не держу. Театр не богадельня. – Хлопает в ладоши, вскакивает. – Так, стоп. Еще раз сцену в номере старухи.

2005, май, Москва

Прошли первые майские праздники. Аля просыпалась поздно, смысла ехать на лекции уже не видела: в лучшем случае успеет на третью пару, и она оставалась в общежитии, оправдываясь перед собой тем, что нужно доделать курсовую. Для сдачи курсовой сроки вышли, но время сделать рывок, дописать ее, принести Жуковскому, поплакаться еще было.

Раньше, когда Аля жила с Куропаткиной, та каждое утро поднимала ее, по-сестрински стаскивая одеяло и включая музыку на полную громкость. Уже пахло яичницей и крепким чаем, а сама Оля, встававшая в шесть, успевала сбегать вниз в душ и позавтракать. Аля садилась пить чай, а Куропаткина красилась у зеркала: распахивала голубой глаз, проводила щеточкой туши по светлым ресницам, пыталась обозначить румянами скулы на круглых щеках. Аля быстро одевалась, собиралась, и вот уже она, прислонившись к двери, ждала Олю, выбиравшую, какую блузку или платье надеть. А потом они бежали через перекресток, чтобы успеть в стоявший перед светофором автобус. Без Оли проделать все это в одиночку не получалось.

Теперь Куропаткину каждое утро привозил на лекции на машине отец, а забирал старший брат. Аля не раз пыталась поговорить с ней, извиниться, рассказать, какой странный случай на самом деле эта ее встреча с Духовым. Но ничего не выходило: Оля вырывалась, если Аля брала ее за руку, всем видом показывала, что не желает ничего слушать. Всегда нарочито отворачивалась. И ни единого слова эта болтушка Але с тех пор не сказала. Когда на лекциях Аля смотрела на полудетскую выемку на шее Куропаткиной, на светлый длинный волос, упавший сзади на всегда тесноватый пиджачок, ей начинало казаться, будто она, Аля, сделала что-то невообразимое – задавила котенка или затоптала птичье гнездо с вылупившимися птенцами. Возможно, это и было причиной, почему она не хотела ходить на лекции.

Поднявшись около двенадцати, Аля завтракала чаем с сахаром и молоком, открывала записи для курсовой, читала: «Для распространения товаровъ среди московскихъ потребителей въ 1843 году по инициативе Прохоровыхъ въ Москвѣ на Кузнецкомъ Мосту былъ открытъ розничный магазинъ подъ фирмою Магазинъ Русскихъ издѣлій. В магазинѣ, кромѣ бумажныхъ матерій, продавались: сукно, перчатки, шерстяные матеріи и т. п.».

И сразу отвлекалась, представляла даму, да, собственно, себя образца середины девятнадцатого века. Вот она входит в магазин, приподнимает подол, переступает порог. На ней наверняка шляпка, крепко удерживающая своевольные волосы. Аля просит усатого приказчика показать ткани на платье или пальто, не спеша рассматривает образцы, слушая, как угодливо заливается приказчик. А может, он ленив и отрывисто недоброжелателен: раз зашла в магазин русских, а не парижских тканей, значит, бедновата. В открытую дверь Але виден солнечный Кузнецкий Мост (в настоящем 2005 году она часто бывает там, подыскивая книги у букинистов), слышны копыта лошадей, смех, крики мальчишек, продающих ягоды, семечки или зазывающих почистить обувь. (На этой стадии прогулок в прошлое Аля закрывала тетрадь, вытягивалась на общежитской кровати и представляла, что происходило дальше.)

Вот она в том дне девятнадцатого века собирается уйти из лавки, так ничего и не купив, планирует перейти дорогу и выпить шоколаду в кондитерской, но тут приказчик уговаривает померить шали. Она встает у зеркала (наверняка же были тогда зеркала в лавках, надо почистить), ну, если не было, то просто накидывает на плечи шаль (сама или это делает приказчик) – например, синюю с золотистыми ягодами и цветами, поглаживает рукой ткань. Настоянный послеобеденный свет высвечивает каждую ниточку в бахrome. Краски, конечно, очень яркие и с каждой секундой становятся еще ярче. Она точно и вправду видит эту шаль, пальцы осязают тонкую шерсть. А потом шаль начинает размываться... Аля зевает, размышляя, как выглядела бы сумочка, из которой она достала бы деньги, чтобы рассчитаться с приказчиком, снова зевает и засыпает.

Проспав часов до трех, она снова пила чай и принималась ждать вечера. Иногда выходила, добиралась до книжного магазина. Купить новую книгу было не на что, поэтому Аля приспособилась читать в магазине, сидя на скамеечке для ног между рядами. Для одной книги требовалось несколько заходов. Она предпочитала большие книжные, где можно было затеряться: «Библио-глобус», «Московский дом книги» на Новом Арбате, книжный на Полянке. Сейчас читала так «Слепого убийцу» Этвуд, жадно перелистывала страницы, не забывая, впрочем, поглядывать на часы на руке – электронные, с пластмассовым ремешком (подарок Оли на прошлый день рождения). Если у Духова не было спектакля, они встречались в шесть на одном из вокзалов.

Аля приходила раньше и высматривала Духова. Толпа пробиралась мимо и сквозь нее, оглушала криками, перебранкой, смехом, детским плачем и лаем какой-нибудь маленькой собачонки, испуганно вжавшейся в большую грудь хозяйки, выставленную с наступлением теплых деньков напоказ. Толпа дышала на Алю духами, потом, безумной радостью или вонью рвоты, мочи, грязной одежды, страха и постигшей беды. Настоящие попрошайки, принадлежавшие к тайной корпорации, будто неподвижные части огромного текущего механизма, держали его, этот механизм, в неизменной, хотя и ежесекундно меняющейся форме. Без рук или без ног, в форме афганцев или бомжатском отрепье, со старой собакой на картонке или долго спящим ребенком на руках – попрошайки имели вид бессмысленный, даже тупой, но когда они нет-нет да и встречались взглядом с Алей, ставшей тоже на некоторое время неподвижной частью тайного механизма, взгляд этот еще как прояснялся, делался цепким, угрожающим.

Духов появлялся точно по вокзальным часам. Обычно без всякого приветствия брал Алю за руку и увлекал в сторону электричек. Шагал широко, Але приходилось приспосабливаться, ходить быстрее, чем она привыкла. В электричках они иногда ждали, пока продавец хитрых приспособлений для истребления мух или чистки овощей прорекламирует поставленным голосом свой товар и, если удастся, продаст двоим-троим из вагона. Такие коробейники образца 2005 года, приземистые мужчины в возрасте, худые или полные громогласные женщины, чего только не продавали. Хорошо шли, как заметила Аля, обложки для документов, какие-то особенные ручки с колпачком, которым можно было стереть чернила, толстые еженедельные газеты с программой и кроссвордами.

Уже знакомые студенты (или псевдостуденты) собирали деньги для собачьего приюта (или псевдоприюта), женщина в платке и длинном черном платье, в каком ходят монашки (по крайней мере, так думалось Але), весь месяц призывала пожертвовать на строительство собора в Архангельской области. Попадались и музыканты с серьезной аппаратурой, которую они не спеша расставляли каждый раз в начале вагона, куда входили. Духов и Аля использовали дудочку и иногда скрипку – Духов, как оказалось, умел и на ней играть. Скрипка легче всего добиралась до сердец пассажиров. Расчувствовавшись, они вытаскивали кошельки и кидали в коробку горсть монет, а то и сторублевки.

Дело двигалось все равно медленно, денег набрали немного – две тысячи с копейками, что составило семьдесят три доллара. Впрочем, сбор денег для Али отошел на второй план, она влюбилась в сами вечера в электричках, заполненных до отказа солнцем, разомлевшими от весны и тепла пассажирами. Аля нетерпеливо ждала этого времени весь день, а дождавшись, пила его медленно, тянула, словно сок через соломинку. В вагонах пахло принесенными на подошвах и раздавленными тополиными почками, кожей новых туфель и ботинок, шинами велосипедов, весенней густой пылью. А еще пивом – у многих пассажиров в руках баночки и бутылки. Из переполненных сумок уставших гражданок весело торчали перья зеленого лука, кисло и свежо тянуло ржаным хлебом.

Все пассажиры и даже собаки, растянувшиеся в проходе, подпрыгивали, покачивались вслед за вагоном и были, как это всегда бывает весной, полны ожиданиями. Им всем, как и Але, казалось, что вот-вот, еще до того, как солнце коснется горизонта, до того, как электричка

встанет на нужной станции, случится эпохальное событие, грандиозное представление, которое человеческий ум даже не способен вообразить. Великолепное зрелище начнется с минуты на минуту и в числе прочего, наконец, объяснит загадку этого мира и настоящую причину, почему все они оказались в этот вечер вместе в одном вагоне. Майский закат в окнах, играя красками, подогревал ожидание, как какой-нибудь местный певунчик подготавливает публику перед появлением настоящей рок-звезды.

Играя на дудочке, стоя рядом с Духовым, изображавшим ее слепого возлюбленного, Але казалось, что она слышит, как учащенно бьется его сердце, будто танцует чечетку, в нетерпении ожидая того же, что и все вокруг. Такого единения с людьми, такой радости, восторга и вместе с тем невероятной свободы она не испытывала до этого никогда и почти поверила в дикую теорию, которую ей как-то попытался втолковать Тропик: дескать, нет никаких людей, есть только одно «я», рассыпавшееся на варианты и конфигурации. Влюбленно рассматривая пассажиров, Аля, кажется, поняла, что он имел в виду.

С наступлением темноты ожидаемое грандиозное представление каждый раз переносилось на следующий день. Аля и Духов выходили в сумерках на перрон, переходили на противоположную платформу и возвращались на вокзал. На другой день (если Духов не был занят в спектакле, а это бывало редко) все повторялось снова.

Как-то, вернувшись поздно вечером, она увидела на ручке двери своей комнаты пакет с логотипом «Детского мира». Внутри пакета оказалась небольшая коробка, а в ней палочки, ленточки, кусочки ткани, лыко, инструкция. Разложив все на столе, Аля развернула инструкцию: «Для изготовления фольклорной куклы Костромы возьмите 2 палочки. Одну длиной 25–30 см, другую чуть покороче – 20–22 см. Немного лыка, тесьму 15 см, красные нитки и кусочки разноцветного ситца, которые разорвите на полоски 1,5 см шириной и примерно по 23–27 см длиной. Сначала сделайте основу. Палочки перекрестите и примотайте друг к другу красной ниткой. Полоски ситца привяжите к поперечной (короткой) палочке. Далее косу. К верхней части приложите лыко, перегните пополам вокруг палочки, завяжите красной ниткой. Получившийся пучок разделите на 3 части, заплетите косу. Сверху, в начале косы, сделайте перевязку тесьмой, имитируя головной убор».

Тропик прислал? Аля перевернула бумажку с инструкцией. Там от руки было накарябано: «По мнению академика Б.А. Рыбакова, во временных трансформациях обряда кукла Костромы или Купалы заменила собою не божество Кострому или Купалу (правы исследователи, отрицающие существование представлений о таких богинях), а жертву, человеческую жертву, приносимую в благодарение этим природным силам и их символам».

Может, это Куропаткина? Она любила всякие фольклорные штучки. Наверное, чувствует, что перегнула. У Али даже ладони и затылок потеплели от мысли, что это привет от Оли. Она собрала куклу, та получилась яркая, забавная.

* * *

Девятого мая работают днем. Работа не задается, да и людей в праздник в электричках мало. Сделав несколько заходов, Аля и Духов выходят на северной окраине Москвы и оказываются в лабиринтах гаражей.

– Куда это мы?

– Ты ведь спрашивала про рисунок?

Действительно, Аля недавно спросила, не сохранился ли у Духова один из тех рисунков, на которых он рисовал в детстве Алю и ее мать, доказывая тем самым их существование.

Проходят мимо полного лысого мужчины в футболке, который что-то крутит под поднятым капотом белой «Волги». Рядом стоит двухлитровая пластиковая бутылка пива, на газете

лежит вяленая рыба. Из темных недр открытого гаража несется с хрипотцой «Ко-омбат-батяня, батяня-ко-омбат, за нами Россия, Москва и Арбат...». Заметив парочку, мужчина вылезает из-под машины, демонстрируя футболку с полустершейся надписью LEGION 1996, широко улыбается:

– С праздничком!

– С праздником, бать, – откликается Духов, приняв облик рубахи-парня. Даже походка его делается этакой вразвалочку, с ленцой. И как это у него так получается?

– Ребятки, заходите, отметим! У меня в гараже стол накрыт. Сейчас еще мужики подойдут.

– Да у нас тут дельце, бать, прости.

– Ну, тогда за ваше здоровье! – «Батя» поднимает бутылку с пивом, отпивает, нюхает рыбку и снова заползает под капот.

Идут дальше. Меж гаражей желтеют головки мать-и-мачехи, ветер, как щенок, заигрывает с молодой зеленой травой.

– И как ты это делаешь? Превращаешься в другого?

Духов косится на нее.

– Я все же актер.

– И что ты при этом чувствуешь?

– Когда как.

– Ну вот сейчас, пять минут назад, что ты чувствовал?

– Ничего. Это просто игра.

– А на сцене – не просто?

– На сцене все по-другому.

– А как?

– У всех по-разному на самом деле.

– Да, из тебя секретов не вытянешь. А разве вас всех не учат играть по одной системе – как его, Станиславского?

Хмыкает:

– Никто по-хорошему не знает, что это такое. Все понимают эту систему по-своему.

– Ну, бог с ней, с этой системой. Я вот что тебя хотела все спросить: ты не боишься, что тебя узнают? Когда мы ходим вот так по электричкам?

– Если ты встретишь ну, Олега Меньшикова, в электричке, ты что решишь? Что это он? Нет, ты подумаешь, что этот человек просто очень похож на Меньшикова.

– Ничего себе у тебя самомнение, – фыркает Аля.

Отовсюду доносятся музыка, мужской смех. Радио захлебывается, рассказывая, как отмечают День Победы в разных городах России. Перед некоторыми гаражами на табуретах сидят по двое-трое стариков в форме с орденами. Рядом на походных столиках или сложенных один на другом ящиках, покрытых газетой, стоит неизменная бутылка водки, коробка с томатным соком, лежит черный хлеб, зеленый лук. Дымок, запахи шашлыка от мангалов всех видов густо стоят в воздухе. Колдуют над шампурами мужчины помоложе. Кое-где рядом со взрослыми крутится пацан от четырех до шести лет, стучит мячом о стену гаража или ковыряет палкой в земле находку – ржавую запчасть или женскую прокладку. Вместе с хозяевами выгуливаются и машины – все больше старые иномарки, хотя попадаются даже и «копейки». С распахнутыми дверцами машины походят на птиц, которые приподнимают одно крыло или оба и сушат перья под ним.

А еще по пути нет-нет да и возникают глухие запертые ворота, огороженные забором территории, за которыми наверняка творится ужасное. И ни одной женщины вокруг. Настоящее мужское царство. Аля и Духов переходят по покрытому мхом бетонному мосту мутную бурлящую речку, чуть шире ручья, идут вдоль берега, увитого прошлогодней белой травой, по

задам одного из рядов гаражей. Под ногами оказывается то ржавая консервная банка, то распотрошенная лет пятьдесят назад женская сумка, то зачем-то страница из учебника с задачей, мужской ботинок, выцветшая пластмассовая кукла без руки с заляпанными грязью глазами. Аля поглядывает то под ноги, то на небо: оно тут хорошо! Выпуклое, просматривается далеко, да что там – главенствует над всем. И воздух, несмотря на весь этот хлам, здесь сильный, упругий, деревенский.

Духов идет, задумавшись; он совсем забыл про Алю, предоставив ей самой перешагивать, обходить препятствия, перепрыгивать провалы грунта, пробираться сквозь разросшиеся кусты. Уходит вперед метров на тридцать. Но вот встает под старым электрическим столбом, оборачивается, поджидая. Когда Аля подходит, ей кажется, что постройки кончились, но оказывается, гаражная змея просто делает тут поворот и несет свои бесчисленные квадратные кольца куда-то вглубь.

– Мне нравится сюда приходить, – признается Духов, очищая джинсы от прошлогодних колючек. – Сначала весь этот хаос, беспорядок мучает, но он тут сильнее тебя, и в какой-то момент ты просто рассыпаешься на составные части и расслабляешься, теряешь себя. А когда потом выходишь, то оказывается, что ты перебран и стал как новенький.

– Именно так люди поддаются темным страстям.

– Да? Никогда *так* об этом не думал. Ладно, мы уже почти пришли. И какие же они у тебя? – спрашивает он через несколько шагов. – Темные страсти?

– Так я тебе и сказала.

Искомый гараж выглядит заброшенным. Прошлогодние листья скопились у железной двери. По углу, между фасадом гаража и боковой стеной, тянется молодая березка, растопырив тонкие множественные руки, как индийский бог, имя которого Аля забыла (его фигурка стоит на подоконнике в комнате у Тропика и Киры). Деревце выпустило клейкие новые листья и всем своим видом показывает, что старые, похожие на тряпки листья у основания гаража не имеют к нему никакого отношения.

Духов вставляет ключ в большой замок, поворачивает. Замок поддается не сразу, приходится повозиться. Но вот дверь распахивается: тянет затхлостью, ржавым металлом, пылью. Солнечный свет нерешительно топчется на пороге, не осмеливаясь двинуться дальше. Духов снимает с себя рюкзак, вытаскивает фонарик, светит. Аля видит полки, на них стоят заросшие паутиной коробки, жестяные банки, керосиновая лампа, пустые бутылки. Инструменты. На полу разместилось кожаное кресло от машины, все в бархатной коричневой пыли. Перед креслом стоит ящик, покрытый куском клеенки с абсурдно неуместным тут рисунком мультяшных мишек и бочонков меда. Роль кровати выполняет средней ширины лавка. Из прорезей некогда красного одеяла, постеленного на лавке, выдавились клочки грязной ваты. Над лавкой с потолка свисает на черном толстом проводе лампочка. Вдоль стен выстроились несколько старых чемоданов, сумок разных размеров, есть даже деревянный старинный сундук. На крючке висит фуфайка, так, кажется, называется этот серый ватник, кепка, под ними сапоги. В пыли, как и все тут.

В стенах множество мелких дыр, сквозь которые просачивается свернутыми трубочками свет – можно подумать, что гараж подвергся обстрелу.

– Сколько лет сюда никто не заходил? – спрашивает Аля.

– Дед жил здесь, когда я еще в детский сад ходил, а потом отец несколько месяцев перед отъездом на Кубу.

Духов подходит к сумкам и чемоданам, водит фонариком.

– Погоди, где же. А, вот эта сумка, точно. – Вытаскивает синюю пузатую сумочку с перекрещенными металлическими палочками-застежками.

– Это называется ридикюль, – говорит Аля, – у моей мамы был похожий.

Духов открывает сумку и достает бумаги. Проходят поближе к свету. Сверху бумаг оказывается инструкция на телевизор, потом пачка счетов, несколько школьных тетрадей. Духов просматривает их, протягивает одну Але. Бумага разбухла, напиталась влажностью, пахнет старостью, забвением. В тетрадке сохранились три рисунка. Два почти полностью расплылись, а третий, нарисованный отчего-то в середине тетрадки, цел, по крайней мере в нижней части, раскрашенной цветными карандашами. Аля тотчас узнает сдвоенные вишни на своем платье и полоски на мамином. Глаз у мамы не разглядеть – в этом месте расплывается желтое пятно, а вот шрам на щеке и крупные передние зубы видны прекрасно и отзываются в Але неожиданной тоской. Ее собственные черты почти съело время, но все же Але кажется, что она узнает себя.

– Я возьму это?

Актер пожимает плечами, он занят тем, что открывает поочередно чемоданы и сумки, светит туда фонариком.

– Что ты ищешь?

– Кассету одну. Я на ней записывал отрывки, которые читал вслух для Ивана Арсеньевича.

Аля проходит по гаражу. Глаза привыкли к полумраку, расстрелянному световыми нитями, и уже хорошо различают предметы. В одном из углов она обнаруживает мешок, из дыры которого торчит нога куклы. Аля открывает мешок и вытаскивает куклу: маленькие ботиночки, платице.

– Это твоей мамы?

– Что? – Духов, озабоченный поисками, скользит взглядом по кукле. – А, нет. Это семейные тайны.

– В смысле?

– Дед тридцать лет назад недоглядел за моей двоюродной сестрой. Ей было всего четыре. Она упала в колодезь. Это ее вещи.

– Боже! – Аля засовывает куклу обратно.

– Она не умерла. – Духов, сидя на корточках, роется в очередном чемодане, подсвечивая содержимое фонариком. – Но до сих пор инвалид. Деда не простили и сослали сюда. Моя мама иногда навещала его здесь, привозила продукты.

– Но как он тут жил, не задыхался?

– Спился и замерз. А, вот она. – Он вытаскивает кассету, сдувает с нее пыль, подносит к губам и целует.

– Но как же тут можно было жить?

– Нормально. Я однажды провел тут два дня. Тут есть электричество, лампочку только надо заменить. Есть где-то и радиоприемник, и электроплитка. Так что, если тебя выгонят из общежития, обращайся. Правда, говорят, гаражи скоро снесут. Ну все, пошли.

Сгусток времени застревает у Али в легких. Дышать тяжело, она чувствует, что вот-вот заплачет, и, к собственному удивлению, правда начинает плакать. Нет, не из-за истории, которую рассказал Духов, – мало ли она слышала об ужасах, происходивших с другими людьми. И не из-за рисунка, напомнившего детство. И не из-за ауры старых вещей в гараже. То есть, конечно, дело было во всем этом, но только во всем сразу вместе, а именно – в прошлом, потребовавшем вдруг свою дань. Аля чувствует, что прошлое, да что там – сама смерть заявляет прямо сейчас на нее и Духова права. Вот-вот, совсем скоро, они, такие молодые, обладающие такой нежной гладкой кожей и ровным биением сердца, начнут развоплощаться и исчезать. И ничего с этим поделать будет нельзя. Разве только жить яростно, жадно, торопясь, назло этому прошлому, утягивающему за собой в мрак.

– Ты чего? – Духов подходит к ней. – Если ты из-за Соньки, – он кивает на мешок с торчащей из дыры ногой куклы, – то уверяю тебя, она живет жизнью, которая тебе и не снилась. Вокруг нее до сих пор пляшут с бубенцами.

Они смотрят друг на друга с минуту. И он понимает. *Сейчас*. Идет прикрыть дверь и возвращается.

– Тут же грязно, – заикаясь от слез, шепчет Аля.

– Ничего, пожертвую футболку...

Это первый секс после той ночи знакомства. На этот раз *после* оба не чувствуют неловкости. Помогают друг другу снять с волос паутину и какие-то морхи, одеваются. Выходят, унося с собой артефакты. Духов запирает гараж.

Солнце занимает предвечернюю позицию сбоку и со всей мощью высвечивает ажурную, еще мелколистную зелень на редких деревьях и кустах, не забывая перебирать по одной, как четки, травинки меж гаражами. Теплый ветер сдувает остатки слез с глаз Али, она смеется, не понимая, что еще за хтонь на нее напала некоторое время назад.

* * *

Режиссер звонил Макару когда вздумается: в одиннадцать вечера, когда они еще работали по электричкам, или в два ночи, когда бродили по ночным улицам, или в пять утра. Требовал, чтобы тот приехал. Духов всегда отзывался с обидной для Али радостью, готовностью и тут же уносился мыслями далеко от нее, от места, где они находились, от разговора, который вели. Спустя некоторое время после звонка подъезжал белый «лексус», за рулем которого был Алеша, помощник Константиновича: белобрысый парень со стянутыми в хвост волосами, прыщеватым лбом, бесцветными ресницами.

Аля уже знала его историю. Года три назад Алеша забрался в квартиру Константиновича и разнес там все, что мог. Провалился на экзаменах в театральный и решил так отомстить: провалил его именно Константинович. Собрав в рюкзак деньги и все ценное, что было можно унести, Алеша решил напоследок раскромсать полотна на стене. По словам Макара, режиссер держал дома ценную коллекцию картин, большинство из них находилось в комнате, которую на первый взгляд и не обнаружишь, но два-три полотна всегда висели в гостиной. Алеша как раз воткнул нож в абстрактное полотно (Макар назвал фамилию художника, но Аля не запомнила), когда Константинович вернулся. О том, что произошло потом, оба помалкивают. Но так или иначе, режиссер получил рану на ладони – до сих пор виден шрам, однако милицию не вызвал. Известно, что Константинович и Алеша проговорили до утра, и режиссер в итоге разрешил Алеше пожить у себя некоторое время. «Спас его, как и меня когда-то, – воскликнул, рассказывая это, Духов. – Алеше некуда было возвращаться, понимаешь?» Да, это Аля понимала очень хорошо. В большинстве случаев это фигуральное выражение, конечно. Всегда есть, на самом деле, куда возвращаться, снова влезть в яйцо и обрасти скорлупой. Очень даже можно. И сгнить внутри.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.